

Павел **ПЕППЕРШТЕЙН**
Свастика и Пентагон

Ad **M**arginem



DEBRIS



S E R I A

ПАВЕЛ
ПЕППЕРШТЕЙН

СВАСТИКА И ПЕНТАГОН

*Ad***M***arginem*

УДК 821.161.1-31 Пепперштейн П.
ББК 84 (2Рос-Рус)6-44
П25



Иллюстрации выполнены творческой группой
«Эмблема-Эмбрион» по заказу фонда Дебрис

Макет и обложка - Станислав Антонов

ISBN 5-91103-003-9

© Павел Пепперштейн, 2006
© Рисунки в тексте - И. Разумов, П. Пепперштейн, 2006
© Издательство «Ад Маргинем», 2006

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕНТАГОН. 7

СВАСТИКА 81

Нас не догонят!
«Тату»

Война — это знаки.
Маннергейм

Веселый поезд мчался к югу. Компания молодых людей — две девочки и два мальчика — заняли купе в середине одного из вагонов. Все еле-еле успели на поезд, прискакав на Курский вокзал из разных уголков Москвы со своими наспех собранными рюкзачками. Поезд отошел в восемь часов утра, исчез за окнами утренний летний вокзал с его особым запахом и особым возбуждением, кое-кто из компании еще не вполне проснулся и вовсе не мог согнать с ресниц утренние сновидения, а другие, напротив, и не ложились спать минувшей ночью и теперь подумывали о том, как бы расслабиться на полках под гипнотический стук вагонных колес. Но пока что никто не спал, все сидели вместе и болтали, то и дело посылая SMS тем, кто остался в Москве, типа: USPELA NA POEZD JEDU :) SOSTOJANIE NEREALNOE. И действительно, состояние у всех было удивительное, приподнято-вытаращенное, как бывает в слишком ранние часы, когда в прохладе утра совершается нечто необычное, возможно, судьбоносное. Но постепенно всеми овладела радость: путешествие началось, и все подтверждало это — и классический русский поезд с его качкой и стуком, и цер-

ковь с черными куполами, мелькнувшая за окном купе, и толстая хмурая проводница в белой рубашке, которая принесла постельное белье в пакетах и чай в подстаканниках. Сколько ни ездил в русских поездах, с самого раннего детства и до самой смерти, все восхищаешься до какого-то тайного душевного оргазма этими подстаканниками: и, конечно, все стали сравнивать свои подстаканники — кому достался с космической символикой, с маленьким литым земным шаром, на котором единственным строением была Спасская башня Кремля, с курантами и звездочкой, и прямо изпод этого шара взмывала вверх космическая ракета. Другим достались подстаканники из выпуклых виноградных гроздьев и колосков, третьим — со строгой белкой, сжимающей лапами орех, четвертым — с гимнастами и олимпийскими кольцами.

Кто объяснит, кто исследует природу той радости, что изливается из этих изображений? И похожа эта радость на музыку в соседней комнате, тонкую и приглушенную, которую ты не включил, не ты и выключишь, но призвана она обрадовать именно ту душу, что ненароком поселилась в твоём растерянном теле и живет себе в этом теле, как на даче, снимая ее, должно быть, на лето — на долгое и забавное лето жизни.

Яша Яхонтов, девятнадцатилетний опездол, все смотрел на свой подстаканник, не отрываясь, а достался ему со Спасской башней и ракетой. Настроение выдалось не болтливое, он все не мог встроиться в общий разговор, поэтому вскоре залез на верхнюю полку и открыл тетрадь. В этой тетради, похожей на маленькую Библию, он вел дневник от руки — раньше он практиковал дневник в Интернете, но электронная открытость ему надоела, захотелось секрета, келейности, захотелось той древней тайны, что всегда скрывается в рукописях — и теперь он писал от руки, закорю-



...как бы расслабиться на полках, под гипнотический стук вагонных колес.

чечно — неразборчивым почерком, на маленьких белых страничках.

Проводница прошла и сказала, что поезд миновал санитарную зону и туалеты открыты. Одновременно две девочки вскочили, прервав разговор, и разбежались в разные концы вагона. Они, конечно, не прочь были мимоходом воспользоваться туалетами по назначению, но имелись у них и дополнительные причины навестить эти железные комнатки. У первой из них, Маши Аркадьевой, оставалось еще немного кокаина, и ей хотелось слегка взбодриться на добрую дорогу, тем более что чувствовала она себя странно после безумной ночи, что предшествовала ее отъезду из Москвы. Ночь включала в себя чей-то день рождения, отмечавшийся за городом, у реки, с костром и гаданиями, затем посещение одного пафосного клуба в центре Москвы, где были танцы, белые кисейные занавески, свечи, кокаин и джин с тоником, затем суматошное свидание с возлюбленным, неожиданную ссору и, наконец, — остаток ночи — долгий архаический бред больной бабушки, с которой Маша жила в одной комнате. Уже перед рассветом бабушка, чей припадок безумия все длился, сидела в постели, накрывшись с головой цветастым одеялом, раскачивалась, и Маше приходилось сжимать в руке ее вязкую руку, чтобы бабушке не было так одиноко в глубинах того трипа, который называется старость. Бабушка постепенно успокаивалась, и ей, видимо, начинало казаться, что это не Маша сидит на ее постели, а, наоборот, она сидит у Машиной детской кроватки, Машу же она видела засыпающим ребенком, и по повелению каких-то древних правил уста ее стали исторгать сказку. Рассказывая, она хитро и порнографично блестяла глазками из-под одеяла:

— Жил-был старичок — золотой стручок. Жила-была старушка — черная избушка. Вот и пожени-

лись — вошел стручок в избушку, черную старушку. А там печь горит, зной дает — стручок возьми да и лопни. Покатились горошины по горнице — золотые, наливные. Одна под стол закатилась, другая в щель провалилась, третья под образа, пятая — бирюза, шестая — золотая, седьмая — святая, восьмая с косичками, девятая — проклятая, десятая — кудлатая. Десятая за косяк, одиннадцатая за притолоки, двенадцатая под крыльцо, тринадцатая — тебе в лицо! — последние слова она выкрикнула и быстро кинула в лицо внучки некую маленькую вещь.

Маша (у нее была хорошая реакция, занималась настольным теннисом) схватила вещь на лету и сжала в кулаке. Затем разжала руку и взглянула — это была старая военная пуговица, потертая, солдатская, из желтой латуни, с пятиконечной звездой и серпом и молотом в центре.

Маша спешно собрала рюкзачок и побежала на вокзал. Пуговицу она по какому-то суеверию положила в пакетик с остатками кокаина. И теперь, закрывшись в вагонном туалете, она достала этот пакетик, осторожно высыпала кокаин на карманное зеркальце и через пластмассовую трубочку втянула его сначала одной ноздрей, затем другой. Потом она взяла в руку пуговицу — белый кокаин забился в уголки звездочки и что-то зимнее появилось в ней, словно она побывала в снегу или стала елочной игрушкой. Сладкий новогодний холодок блестел на выпуклой поверхности этой пуговицы, а летний поезд все мчался. Маша вдруг ощутила столь сильную любовь и жалость к своей безумной бабушке, что в порыве чувств приложила пуговицу к губам, потом слизнула с нее остатки кокаина — приятная мертвенность объяла кончик языка — и спрятала пуговицу в сумочку, решив, что отныне это будет ее амулет.

Одновременно она увидела всю эту сценку в зеркале над умывальником — себя, целующую пу-

говицу. Собственная красота в очередной раз заворожила ее — она взглянула на себя зеленоватосиними глазами и поймала ответный взгляд, влюбленный и немного испуганный — слишком она была хороша, чтобы не бояться своей красоты. Золотистые выющиеся волосы ее посылали ей привет, личико сияло ровным загаром этого лета, на ней был топ цветов радуги, загорелый узкий живот украшен был пирсингом в пупке, изображающим серебряного человечка — голого отшельника-аскета, который сидел в позе лотоса в овальном углублении ее пупка, как в маленькой пещере. Член отшельника был эрегирован, и он невозможно созерцал свой серебряный фаллос.

Она обвела поездной туалет вдохновенным взглядом: как же она боялась этих вагонных туалетов в детстве, как страшилась их вони, их смрадных луж и тряпок, их железных педалей с пупыршками, их лязга и жестяных ведер с непонятными буквами... Страшилась, но больше не боится, наоборот, туалет показался ей прекрасным, родным — он был просторнее и величественнее, чем тесные клаустрофобические туалеты европейских поездов с их глупой пластмассой и душным запахом химических освежителей воздуха. Здесь же все было настоящим, кондовым, крупным, как и должно быть в России, просторное окно было привольно замазано краской, и этот загадочный цвет — то ли зеленый, то ли серый, то ли желтый, и крупные размашистые мазки большой кисти — все это выглядело как фрагмент живописного полотна, сверху было нацарапано нецензурное слово, и сквозь прозрачные царапины видны были проносящиеся леса.

Волна любви к Родине как логическое завершение триады, состоящей из волн любви к бабушке и к себе, накатила на Машу, она наклонилась к окну и поцеловала царапину, составляющую чер-



Собственная красота в очередной раз заорожила ее...

точку над буквой «Й», и сквозь эту царапину поцеловала леса, дачи, заводы, овраги и реки родной страны.

Тем временем в другом конце вагона, в другом туалете девочка по имени Катя Сестролицкая достала из шелкового мешочка с иероглифами крошечный шарик, напоминающий жемчужину. Она положила его на ладонь и тоже, как и Маша Аркадьева, глянула в зеркало.

Она была столь же хороша, как и Маша, но в другом духе: сублинная, словно ребенок, с очень белой кожей, с темными гладкими волосами, с темными, чуть раскосыми глазами, немного похожая на японскую девочку, с припухшими губами — столь яркими на ее овальном личике, что они всегда казались накрашенными. Она смотрела на себя без той робкой влюбленности, с какой глядела на себя отраженная Маша, — Катя Сестролицкая глядела на себя оком заговорщицы, она словно была шпионом, а ее отражение — сообщницей, которой она собиралась поведать секретную информацию.

Ее взгляд и тонкое запястье, глядящее из черных рукавов китайской рубашки, все это было паролем, внимая которому она собиралась узнать саму себя. Минувшую ночь она также не спала, но нигде не тусовалась, а лежала в старой комнате одного московского сквота и молча смотрела на «жемчужину». Теперь она положила шарик в рот — он мгновенно растворился у нее на языке, оставив сладкое послевкусие. Через минуту туалет, где она находилась, стал кабиной космического корабля, оборудованный приборами будущего, унитаза и раковина расцвели лампочками, кнопками, датчиками, зеркало обратилось в светящийся волнистый экран, на котором возникла прелестная инопланетянка, стройная как стебелек, в черно-синей униформе своего звездолета — ее белое личико-



...она словно была шпионом, а ее отражение -
сообщницей...

цветок трепетало и что-то безмолвно шептало детскими устами, словно испившими межгалактической крови — что-то она пыталась сказать: я... я? Вроде бы она хотела обнажить это «я» — то ли в инопланетянке, то ли на кране, то ли в пульте управления полетом... Горизонтальное движение поезда грациозно вывернулось в вертикальное: теперь все несло вверх... Фамилия девушки — Сестролицкая — тоже участвовала в ее переживании, и, не в силах найти свое «я», она желала обнаружить ее в «лице сестры». Лицо сестры на льдистом экране таяло и мерцало, в нем мелькали различные отражения, отсветы, и на какой-то миг — на долю секунды, на сахарную лимонную дольку секунды — она увидела чудесное лицо Маши Аркадьевой, ее золотистые волосы, ее влюбленные глаза — словно два зеркала, обнявшие вагончик с двух сторон, сообщались меж собою по двум каналам восхищения.

Два полурастворившихся «я» отразились друг в друге. Катя стояла в вагонном туалете, в поезде, несущемся в Крым. И она продолжала там стоять, внезапно околдованная созерцанием герба Украины, который был изображен на расписании, случайно попавшем ей на глаза. Она видела этот герб тысячу раз, но никогда его прежде не замечала, и вдруг ей открылась его странность, его загадочность — этот вензель в духе сецессии, символ, придуманный во времена символизма — удивительный усложненный трезубец Посейдона, почему-то ставший гербом не слишком морской страны, — что он значит, этот знак? Катя почувствовала, что этот знак говорит что-то, она должна его разгадать — он словно сооткался в глубинах ее галлюцинаций. И она разгадала: это были два «я», точнее, «я» и его отражение, и оба — «я» и отражение — пустили корни, обросли завитками, срослись, образовав между собой фигуру, напоминаю-

щую восьмерку, — знак бесконечности, и эта бесконечность и соединяла, и в то же время навеки отделяла «я» и его отражение, как отделяет зеркальная амальгама.

Между «я» и его отражением располагается бесконечность, бездна, и имя этой бездны — Зеркало. Так расшифровала герб Украины Катя Сестролицкая. Почему же Украина пометила себя этим мудрым знаком бога морей? Потому что ей принадлежит полуостров Крым, царство Черномора, одно из самых таинственных мест на свете.

Туда они все и направлялись.

Катя вернулась в купе, ответив на все вопросы, которые задала ей жемчужина. Ей казалось, она успешно сдала некий экзамен.

В купе было сонно. Коля Поленов спал как полено на нижней полке. Маша Аркадьева лежала на верхней с закрытыми глазами, улыбаясь. На другой верхней полке Яша Яхонтов писал в своем дневнике: «И вот свершилось: я еду на Казантип. Но что такое "я"? Кто едет на Казантип в моем лице?»

Последняя фраза показалась ему странной, он даже несколько раз потрогал пальцами свое лицо, но продолжал писать: «Мое "я" состоит, как минимум, из двух "я". Я это Я.Я. (Яша Яхонтов). На пляже или лежа в ванне, когда я гляжу на свое голое тело, я хочу выгатуировать на нем фразу: «Здесь живет мое "я"». Но когда я в одежде, то начинаю думать, что "я" живет между телом и одеждой. Более того, иногда "я" начинает жить в самой одежде. Оно живет в моих кроссовках, джинсах, в моих майках, даже в часах. Вещи — это круто».

В этот момент в купе вошла еще одна девушка — Юля Волховцева. Ее все знали, но никто не ожидал ее здесь увидеть. Решение ехать на Казантип с этой компанией явилось к ней внезапно, и в последний момент она подбежала к поезду за пол-

минуты до отправления и запрыгнула в него безбилетницей и все это время шла по вагонам, высматривая друзей. Встретила по дороге еще каких-то знакомых, в вагоне-ресторане угостили ее апельсиновым соком и «сникерсом» (она была голодна), но в результате все же разыскала свою компанию.

Ей все обрадовались, девочки стали обнимать и целовать свою красавицу-подружку, хвалить ее смелое решение бросить все и ехать с ними, принесли ей поездного чая и печенья. Дали денег проводнице (у самой Юли не было с собой ни копейки) и договорились, что Юля займет место Яши, я сам Яхонт (таково было, естественно, Яшино прозвище) перейдет в соседнее купе, полупустое.

Как ни прекрасны были Маша и Катя, а Юля Волховцева была еще краше.

Она была здесь младше всех, в отличие от подруг никогда ничего не употребляла, не курила сигарет, не притрагивалась к алкоголю, почти ничего не говорила, только улыбалась, и красота ее была ясной и прозрачной, как хрустальная чаша, наполненная чистой водой. Все ее любили до умопомрачения, но знали о ней мало: ходила она по подиуму, потом бросила и живет где-то на даче с родителями... Она любила танцевать на рейвах, без нее не обходился ни один open-air, но она в танце всегда была трезвой, улыбающейся, ясной и загадочной одновременно. Называли ее Принцессой рейва.

Яша перебрался в соседнее купе и обнаружил, что там едет один-единственный пассажир — старичок с книгой. Старичок хрупкого сложения, седой и аккуратно одетый во все белое — белую рубашку, белые брюки, белые парусиновые туфли. Даже книга, которую он читал, была бережно обернута в белую бумагу. Лицо и руки старика покрывал густой загар.

Яхонт (он ценил в себе наблюдательность) отметил, что старичок, несмотря на годы, бодр, и, возможно даже, это старый англичанин. Но тот, отложив книгу, приветливо произнес:

— Кажется, пасмурный денек намечается.

Яхонт кивнул.

— А в Крыму жарко, самое время отдыхать. Вы на курорт?

— Нет, я на Казантип еду, — сказал Яша, думая о том, что на запястье старика довольно необычный браслет, состоящий из крошечных, переливающихся свастик.

— А, это на Азове? — спросил старик.

— Нет, это другой. На Азове там место есть — Казантип. Там в недостроенной атомной станции проводился большой рейв, ну то есть большая дискотека как бы... Теперь в другом месте проходит — в селе Поповка под Евпаторией. Туда и название перешло — Казантип, туда я и еду. Там весь август — молодежные как бы... самые модные диджей, движение типа, и все такое.

— Нуда, я слышал. Потанцевать, значит, едете?

Яхонт кивнул. Старичок снова потянулся к своей книге.

— А что это у вас это за браслет? — неожиданно спросил Яков. — Со свастиками. Вы что, фашист?

Старик глянул себе на запястье.

— Этот браслет мне подарили в Индии. Дешевая вещица. Но памятная. Я не фашист, конечно. Это в нашей стране, и вообще на Западе, свастика ассоциируется с фашизмом, а в Индии и на Востоке в целом это знак традиционных религий — буддизма, индуизма... Впрочем, сниму-ка я его — здесь он будет понят неправильно, о чем вы меня любезно и предупредили. Спасибо за напоминание. Видите ли, я последний год провел в Индии, только вчера прилетел, не освоился еще в родных-то краях.

Старичок снял с руки браслет и спрятал в карман. Из другого кармана он вынул наручные часы на кожаном ремешке и надел на запястье — туда, где раньше был браслет. Часы оказались солидные, юбилейного типа, с крупным циферблатом и большой пятиконечной звездой на нем.

— Вот так. Этот символ здесь уместнее, не так ли? Советская власть, правда, ушла, но звезды остались. Ну и хорошо, что остались. Должно же что-то всегда оставаться, — старичок улыбнулся.

«Занятный старец, с обаянием», — отметил про себя Яша и тоже улыбнулся в ответ. Загорелая тонкая длань старика снова потянулась к книге, но Яше не хотелось писать дневник или спать, хотелось еще продолжать беседу с попутчиком.

— А что вы делали в Индии, если не секрет? Да еще круглый год. Отдыхали?

— Видите ли, я собирался просто путешествовать в компании друзей. Но по ходу подвернулось неожиданное дело. Пришлось поработать. Это задержало меня там.

— Вы врач? — почему-то спросил Яхонтов и чуть было не добавил «без границ».

— Нет, я пенсионер. Но раньше работал в московском уголовном розыске следователем по особо тяжким преступлениям. В Индии, в том месте, где я находился, произошло убийство. Ситуация сложилась так, что люди, оказавшие мне гостеприимство, не могли обратиться в полицию. Меня попросили выяснить, кто и зачем убил того человека.

— Вам удалось выяснить?

— Да. Все прояснилось.

Они помолчали. Старику, видимо, хотелось читать, но он из вежливости не открывал книгу. Яхонтов же уже боялся этой книги: он не отказался бы узнать подробнее обо всем, история вырисовывалась красивая, экзотичная... Он уже представлял, как рассказывает о попутчике ребятам.

— Яша, — представился он.

— Сергей Сергеич.

Произошло рукопожатие.

— А где все это случилось? — спросил Яша.

— Вы слышали про Ауровиль?

— Конечно. Город солнца.

— Там и случилось. Убитый был своего рода гуру, духовный наставник. А список подозреваемых ограничивался узким кругом его учеников. Там не любят вмешивать полицию в дела этих закрытых духовных школ.

— Это прямо приключенческий роман.

— Скорее рассказ. Мне, впрочем, рассказы Чехова больше по душе.

И старик открыл книгу. Видимо, это был сборник рассказов Чехова.

Маша, Катя, Юля, Яша и Коля Поленов прибыли на Казантип, в приморское село Поповка. По дороге от Симферополя покупали на шоссе пирожки, ели их, смеялись. Потом долго искали жилье, поселок весь уже был полон молодежью, приехавшей на рейв, наконец нашли свободную комнату с четырьмя тесно стоящими железными кроватями, поселились там, но их было пятеро, и хозяева поставили еще одну кровать в саду, прямо под низкими фруктовыми деревьями. Спать на этой кровати изъявила желание Юля Волховцева — это и впрямь было лучшее место, ночью сквозь сплетенные ветви сияли звезды, луна бликами отражалась в листве, но спали в основном днем, урывками, а все ночи проводили на танцполе. Собственно танцполов было несколько. Для них выгородили большой кусок пляжа, над этой территорией развевались оранжевые флаги «республики Казантип» — счастливой искусственной маленькой страны, посвященной танцам, музыке и любви.

Потекли друг за другом безумные казантипские ночи, и чем их было больше, тем экзотичнее скакали танцующие, тем глубже было небо над рейвом. В поселке находилась полузаброшенная военная база — вход на ее территорию, закрытый для посторонних, был выстроен почему-то в виде уменьшенной Спасской башни Кремля. В одну из ночей Яша Яхонтов обнаружил себя стоящим на коленях перед этой башней: ему казалось, что эта башня и впрямь единственное строение на земном шаре, и она спасает всех, он молился ее курантам и звезде, а из-под башни взмывали в космос пестрые ракеты... То была ночь, когда общий экстаз достиг пика: диджеи гнулись над пультами, и ветер трепал волосы на их раскаленных головах, девушки вращали горящими копьями, весь танцпол мотало, носило и подбрасывало единым вихрем, как лес в грозу...

В ту ночь Юля Волховцева исчезла. Не сразу ее хватились — видели, что пустеет ее кровать в саду, пустовала она и ночью, вся в лунных пятнах, и днем — в солнечных, но на Казантипе, как и на всех больших рейвах, люди часто терялись, их уносило то одними вихрями, то другими, но в конце концов все появлялись, находились, ведь здесь не было высоких гор, с которых можно было сорваться, находясь в измененном состоянии сознания, да и в море вроде бы трудно было утонуть, так как в этих местах далеко тянулось мелководье. К тому же про Юлю знали, что она трезвенница и плавать превосходно, и друзья не волновались. Но через пару дней и ночей заволновались, звонили ей на мобильный, но телефон не отвечал. В комнате, где жили ее друзья, остался ее рюкзачок, остался паспорт... На кровати ее лежал забытый Юлей CD-плеер: в наушниках еще продолжали звучать песни группы «Тату». Август закончился, все разъезжались, а Юля не нашлась. Звонили в Москву общим знакомым — никто о ней ничего не



Потекли друг за другом безумные
казантипские ночи...

слышал с тех пор, как уехала она на Казантип. Заволновались наконец не на шутку, позвонили ее родителям... Вскоре Юля была объявлена в розыск. Милиция из Евпатории, сыщики, прибывшие из Москвы, — все они топтались на опустевшем пляже, опрашивали свидетелей — никто ничего не знал. Тут Яша Яхонтов вспомнил о старичке, с которым познакомился в поезде. У него оказалась визитная карточка старика, которую тот зачем-то вручил ему при расставании. На карточке было написано: «Сергей Сергеевич Курский». И больше ничего: ни телефона, ни адреса. Но имя это, к удивлению Яши, оказалось знакомо ментам из Евпатории, они слышали о таком человеке, слышали о нем и менты из Москвы. Вскоре удалось узнать, где тот живет, и Яхонтов решил поехать к нему за советом — что-то в этом старичке было особенное, легендарное и в то же время спрятанное. Яхонт был чутким парнем, Юлю он обожал, и сердце его кричало и шептало: к старичку, к старичку за помощью.

Так и случилось, что в один из первых дней сентября он вошел в маленький сад недалеко от Алупки. Курский сидел в саду и смотрел на море.

Яшу он, кажется, узнал не сразу. Но затем вежливо протянул ему руку, сказав:

— А, молодой человек из поезда. Узнаю. Яков, если не изменяет память.

Яша кивнул и сел на деревянную скамейку.

— Наша подруга исчезла. Вы видели ее мельком — она ехала тогда в соседнем купе. Юля Волховцева.

— Припоминаю. Когда же?

— Дней десять тому назад. На Казантипе, — Яша рассказал то немногое, что можно было об этом деле поведать.

— Дней десять — это немного, — сказал Курский. — Я вас понимаю: вы волнуетесь. Но, возможно, романтическая история — внезапная лю-

бовь, и она бежала с возлюбленным от всех и вся. Такое, согласитесь, часто случается в этом возрасте.

— Она не взяла с собой паспорт, рюкзак. Оставила даже CD-плеер...

— Вполне укладывается в романтическую картину: паспорт и рюкзак оказались ей ненужными.

— Может быть. Ее объявили в розыск. Мне надо возвращаться в Москву, но я прошу вас — разыщите ее. Вы это можете сделать.

Курский помолчал.

— Хотите минеральной воды? — спросил он наконец. — «Миргородская», королева минеральных вод. Действительно, вода неплохая. Если ваша подруга не отыщется в ближайшее время, я попробую что-нибудь разузнать об этом деле. Но вы, покамест, не волнуйтесь. Она жива, и жизни ее ничего особенного не угрожает — так мне подсказывает профессиональная интуиция. Оставьте мне номер вашего мобильного — я пришлю SMS как только узнаю что-либо.

Курский проводил гостя.

Я.Я. вернулся в Москву, стал ходить в институт, встречаться с друзьями, выпивать, ездить за город за грибами — благо время наступило грибное. Сознание его странно отреагировало на исчезновение девушки — Юля не была его любовницей, не была и близким другом, в общем-то, он ее совсем не знал, хотя видел нередко и всегда цепенел от ее красоты. Он ждал от себя, что его обуяет мучительная тревога или глубокая безутешная подавленность, или лихорадочная жажда поиска, или неожиданное равнодушие. Его не удивило бы, даже если бы он полностью забыл о ее таинственном исчезновении — но ничего этого не случилось. С тех пор как он услышал от Курского, что Юля, по его мнению, жива и ей ничего не угрожает, он не тревожился, не был подавлен, не

стремился к поиску, не испытывал безразличия и не забывал о случившемся. Им овладело мистическое ощущение, что началось нечто, что непосредственно имеет отношение к нему самому, к его будущей судьбе. Странно, но подобные ощущения испытывали и другие участники компании — во всяком случае, те, что ехали вместе в поезде, — Маша Аркадьева, Катя Сестролицкая, Коля Поленов.

Каждый из них, впрочем, предпринял самостоятельно некоторые действия.

Первой стала действовать Катя. На следующий день после своего возвращения в Москву она вышла из такси в Тушино, среди страшных белых новостроек, похожих на космические зубы. Поднявшись на 12-й этаж одного из этих зубов, она позвонила в аккуратную дверь с нарядным ковриком. Открыла женщина лет сорока, в красном длинном халате, со светлыми волосами. Женщина имела подчеркнута среднестатистический вид: могла бы она быть и школьной учительницей, и мелким менеджером в фирме. В квартире все тоже было обыкновенно: свежо, нарядно, уныло, много было каких-то красных орнаментов на скатерти, занавесках, на чашках в кухне.

— Проходи, проходи, Катенька. Ожидаю, — произнесла дама, пропуская гостью. — Ну что у тебя? Принесла?

Катя достала из сумки несколько модных журналов двухгодичной давности и маленький фотоальбом.

— Вот, Любовь Игнатьевна, фотографии исчезнувшей, — она показала женщине несколько фотографий Юли в журналах, где та снималась в качестве модели, в фотоальбоме, где она мелькала на групповых снимках. Зима, группа подростков на лыжах, сани, чей-то день рождения в клубе, голая Юля на пляже...



«Ей вкусно, вкусно, вкусно...»

Любовь Игнатьевна ушла и вернулась: на ней вместо красного халата теперь было красное платье, на шее — гранатовая пятиконечная звезда, похожая на кремлевскую. Лицо ее окуталось каким-то полусном, накрашенные веки с длинными ресницами опустились.

— Ее нет среди убиенных, — наконец произнесла она.

— Но вообще-то она жива? — с тревогой переспросила Катя.

Любовь Игнатьевна посидела молча, с закрытыми глазами, держа руку с растопыренными пальцами над горкой портретов и фотографий.

— Ее нет среди усопших, — был ответ.

— Где она? — спросила Катя.

Любовь Игнатьевна чуть покачнулась, будто ее задело невидимым маятником. Потом тихо прилегла на тахту не открывая глаз.

— Она в большой комнате. В очень большой белой комнате... Она пьет апельсиновый сок и ест. Вкусно. Ей очень вкусно. Вокруг мужчины и женщины. Очень много мужчин и женщин.

— Она в ресторане? - спросила Катя.

Лицо женщины-медиума с нарумяненными щеками стало темнеть, словно наливаясь кровью.

— Вкусно! Ей так вкусно! - вдруг крикнула она. — Ей вкусно, вкусно, вкусно...

Катя (она знала, что в таких случаях делать) быстро собрала фотографии со столика и ушла, тихо прикрыв за собой дверь. На столике, где лежали журналы, она оставила 100 долларов.

Действовала и Маша Аркадьева. Она почему-то решила встретиться с родителями Юли и поговорить с ними, хотя раньше никогда их не видела и толком не знала, о чем с ними будет говорить. Но она была девушка решительная, смелая, догадливая и умела полагаться на свою интуицию.

С трудом раздобыла она телефон Юлиных родителей, позвонила им, представилась как подруга дочери, попросила о встрече. С ней поговорили сдержанно, настороженно, но в конце разговора сказали, чтобы она села в зеленый «лендровер», который будет поджидать ее на углу Тверской и Садового кольца — машина привезет ее на дачу.

Так и случилось.

Она прыгнула в «лендровер», за рулем сидел обычного вида шофер. В пути молчали. Маша (раз уж она взялась играть в детектива) хотела заговорить с шофером, осторожно расспросить о Юле: знает ли он ее, возил ли ее, куда, в какие места... Но почему-то не заговорила, задумавшись о своем, засмотревшись на проносящиеся машины, деревья, дома... Ее привезли к большой даче. По машине, и по лицу шофера, и по типу дачи было понятно, что родители Юли люди богатые, но не коммерсанты и не банкиры, а скорее высокопоставленные госслужащие.

Последние сомнения отпали, когда Маша увидела Юлиного отца — это был явно человек из ФСБ, внешне похожий на Путина, но с каким-то специальным изъясном, который Путину и не снился. У Путина в лице есть что-то от утенка Дональда и вообще от мультипликационных персонажей, а отец Юли - Георгий Георгиевич (так он представился) — оказался каким-то пугающе реальным и злым, все его молодежавое худое лицо сведено было злобой, как судорогой. Видимо, его самого не радовала эта концентрация зла в его спортивном теле, одетом в черную водолазку, черные брюки и черные модные туфли, поэтому он постоянно брал за руку свою жену — молодую красивую женщину, которой, видимо (судя по ее лицу), удалось скопить в себе ровно столько доброты, сколько требовалось для того, чтобы уравновесить зло своего супруга.

«Юлю украли ее родители, — с абсолютной уверенностью вдруг поняла Маша, рассматривая эту пару. — Но зачем?»

Понимание пришло к ней столь ясное и отчетливое, что не понятно стало даже, о чем говорить с этими людьми, но она хотела удостовериться: стала озабоченно щебетать о следствии, о поисках...

— Хорошо, что вы переживаете за Юлю, — произнес хозяйин дачи (на вид совсем молодой человек, чуть ли не юноша), причем казалось, что с каждым словом из его уст выпархивают невидимые мотыльки зла. — Вы — хорошая подруга. И мы вот что хотим сказать вам: Юля жива и жизни ее ничего не угрожает.

Маша потрясенно уставилась на Волховцевых. Она не ожидала такой откровенности.

— Значит, вам известно, где она? — Маша нервно осмотрелась в ожидании ответа, словно Юля могла выйти откуда-то из-за шторы или из-за шкафа.

Но в комнате не было штор и шкафов. Это была просторная белая комната, простая, с окнами в сад, с импозантными черными креслами, с пустым письменным столом — нечто среднее между гостиной и кабинетом. Над столом на белой стене была четко начертана большая цифра 15.

— Да, известно, но сообщить не могу. Это тайна. И не моя. Впрочем, ей не плохо. Она, я полагаю, находится сейчас в просторной, светлой комнате, похожей на эту.

— И что она там делает?

— Ну, не знаю. Наверное, что-нибудь приятное. Например, болтает с друзьями или пьет апельсиновый сок.

— Но ее друзья — это мы, — Маша почувствовала, что сейчас может расплакаться. Она имела в виду себя, Яшу, Катю, Колю, но на перечисление не хватило сил.

— «Мы» — понятие растяжимое, — произнес Георгий Георгиевич, и его лицо стало настолько злым, что даже не верилось, что такое бывает.

Его жена мягко погладила его запястье, озабоченно и влюбленно глядя на радирующее злом лицо мужа.

— А что означает эта цифра «пятнадцать» у вас на стене? — спросила Маша пытаясь отвлечь себя от слез.

— Видите ли, я человек религиозный, — ответил Волховцев. — Полагаю, что я христианин, но наше православие мне не близко. Скорее, я протестант — если понимаете, о чем я. Протестанты в своих храмах убрали со стен все, оставили только распятие. Они поступили правильно: одно всегда сильнее, чем все. Для них этим одним является крест, распятие. В русском языке в слове «распятие» слышатся две цифры — «единица», «раз», и «пятерка», «пять». Вместе они составляют цифру «пятнадцать» — «рас... пять». Таким образом, данная цифра помечает то место моего жилища, где должно быть распятие — оно там и есть, но в номинально-цифровом эквиваленте.

«Он не фээсбэшник», — вдруг подумала Маша.

— Вас это заинтересовало? — спросил Волховцев, глядя на нее с каким то сожалением, словно он искренне горевал, что не может немедленно перегрызть ей горло.

— Да, очень.

— В соседней комнате есть еще одна вещь на эту тему. Одна картина. Хотите взглянуть?

Маша кивнула.

Они встали и перешли в соседнюю комнату. Она была также полупуста, просторна, с белоснежными стенами. Собственно, тут ничего не было, кроме черного дивана, нескольких серых подушек, брошенных на пол на серый ковер, и большой картины в раме, висящей на стене.

Картина была написана маслом и изображала распятого на кресте человека, но явно не Христа — это был римлянин в римской тоге, толстый, коротко стриженный, он тяжело висел на кресте всем своим тучным телом, облитым складками тоги, голова этого, видимо, уже мертвого человека бессильно свешивалась на грудь, словно смерть показалась распятому скверным испорченным блюдом, которое ему предложили по ошибке.

— Это редкое, ценное полотно, — сказал Волховцев. — Картина называется «Распятый Пилат», автор — Николай Ге. Вы, конечно, знаете знаменитые шедевры Ге: «Христос перед Пилатом» и «Голгофа», — выставленные в Третьяковской галерее. А эта картина мало кому известна, художник при жизни скрывал ее от зрителей. Потом она долго блуждала по частным коллекциям, пока не оказалась у меня. Я люблю искусство: оно многое говорит, еще больше умалчивает. Хотите пить?

Низкорослая женщина внесла на подносе три высоких бокала со свежавыжатым апельсиновым соком. Маша взяла один бокал, глотнула холодного сока.

— Она вам за дорого досталась? — спросила Маша, глядя на картину и не найдя, что бы еще спросить.

— Нет, мне ее подарили, — ответил Волховцев.

От него снова повеяло чистым злом, но волна была слабее чем прежде. Маша подумала, что этому худенькому юношеобразному мужчине в черном пошла бы демоническая улыбка, но Волховцев за весь разговор ни разу не улыбнулся: его зло не радовалось себе, в нем не было ни капли злорадства, зло его было как будто болезненно-доверчивым, печальным, даже распахнутым, словно окошко убийцы, несмотря на скрытное выражение его узких губ.

Разговор исчерпал себя.



«Картина называется «Распятый Пилат»,
автор - Николай Ге...»

Волховцев попрощался и вышел, жена его взялась проводить Машу до автомобиля. Они шли по дачному саду. Волховцева (которая представилась Таней) нежно взяла Машу за руку.

— Георгий Георгиевич — очень крупный ученый, — сказала она тихо и загадочно. — Он работает в секретном научном институте, занимается очень важными для всех нас вещами. Важнейшими вещами.

«Вот оно что... Понятно». — подумала Маша.

— Он себе совсем не принадлежит. Ему даже для встречи с вами пришлось просить специальное разрешение.

У Маши возникло неприятное чувство от всего этого — от аккуратного сада, от зеленого «лендровера», от красивого лица Юлиной мамы. Хотя, в целом, родители Юли оказались интереснее, чем она думала. Они заинтриговали ее, ей было неприятно и досадно, что эти люди украли зачем-то свою дочь, спрятали, возможно, где-то или выслали за границу — и за всем этим стояла тайная возня страхов, возня государственных научно-военных игр.

От всего этого слегка поташнивало.

— А Юля любила этот дом? — спросила Маша неожиданно для себя.

— Нет, Юленька здесь не жила, — ответила Таня Волховцева своим ровным, тихим, загадочно-приглушенным голосом. — С тех пор как ей исполнилось тринадцать, она постоянно жила у дедушки. У моего отца.

Последние слова отбросили на прекрасное лицо Тани какую-то странную - цветную - тень, как от медленно вращающейся новогодней елки.

Маша Аркадьева запрыгнула в «лендровер», и ее отвезли домой.

Пока Маша Аркадьева ездила на дачу к Волховцевым, Коля Поленов, по кличке Буратино,

последний из компании, отправившейся этим летом на Казантип в одном купе, тоже решил внести свой вклад в поиски исчезнувшей девушки.

Коля был высокий, худой парень, с длинным острым носом, вечно взлохмаченный и словно только что проснувшийся, действительно похожий на Буратино — его длинные, худые руки и ноги двигались и сгибались словно на шарнирах, что было особенно заметно, когда он танцевал, а танцевать он любил. Любил он также употреблять разные психоактивные вещества, всем сердцем предан был галлюцинозу, мечтал снимать свой галлюциноз в кино, учился соответственно на кинематографическом, а в остальном жил беспечно и лениво в большой неряшливой квартире на Средтенке, в Хрущевом переулке. Жил себе то впадая в депрессию, то веселясь.

Он долго думал, что ему предпринять, курил зеленый ганджубас, моргал, смотрел в телевизор и в окно, словно пытаясь найти там ответ на вопрос: «Где Юля?»

Из всех членов их компании он единственный с Юлей спал, правда, всего три раза, и об этом никто не знал. Но все же, раз уж случился три раза секс, значит, была между ним и Юлей особенная связь, особая невидимая нить связывала в пространстве эти два тела, и помнил он ее не только лишь как облик, и голос, и сумму движений в пространстве, он помнил всем своим телом ощущение ее тела, помнил и понимал вкус ее губ... Впрочем, знал он о ее жизни не больше остальных — Юля ему ничего о себе не рассказывала.

Тоскуя по ней, он даже стал писать стихи, но писать по-русски было неинтересно и слишком легко, и получалось чересчур откровенно, поэтому он писал по-английски, словно посвятив весь новый период своей жизни, начавшийся с поездки на Казантип, сравнению слов «исчезновение» и «disappearance».

Слово «исчезновение» он понять не мог, оно таило в себе загадку, которая его пугала, и даже томительная красота и изнеженность этого слова пугала его, само это слово уже отливало в форму нежного девичьего тела, ускользающего в какие-то боковые дверцы бытия или же сливающегося с воздухом или с водой, с фоном, как поступили некогда Снегурочка и Русалочка, эти две героини исчезновения.

Слово же «disappearance» казалось ему, несмотря на его элегантность, все же более техническим, из разряда тех словечек, что описывают сбои в различных процессах, различные дисфункции, поломки и повреждения, — это слово читалось как «нарушенное появление», как «появление с дефектом», в этом слове не было необратимости, дефект можно устранить, процесс появления может быть откорректирован, налажен... Даже если изъян окажется неустраним, Юля все же не столько исчезла, сколько появилась (если думать об этом событии по-английски), то есть она «появилась по-английски», не прощаясь, появилась невидимой.

Поэтому он писал, убаюкивая свой ужас музыкой слов, питаясь смутными отражениями Китса и Суинберна.

It's more then silent paradise inside the frozen hill
 It's more then naked still of swords,
 that able dance and kill

It's more then less, it's more then us
 As naked as we are
 It's more then forest on the glass,
 The forest under star.

Your beauty is enough for love
 For tiredness and pain
 You... wave that sent of Lady's glove.

Your beauty is enough for love,
 For sorrow and pain...
 G ust tender sent of Lady's glove,
 But Lady is insane.

So sleep and slide, my wild child's pat
 November's face is Long...
 This little cat we never met,
 But may be I am wrong.

The river's water waits for us
 For bodies - yours and mine -
 Together through the looking glass,
 Through river's water shine.

Все это хаотичное, печальное, небрежное сплетение реминисценций из Китса, Суинберна, Кэрролла и Набокова - цветы, сады в снегу, стекло теплиц, капли дождя, любовь, животные, греющиеся у зимнего огня, пистолет в кармане пижамы, исчезающая Алиса, убегающая Лолита — все это составляло букет, который Коля Поленов, романтичный, как все деревянные человечки, пытался установить в центре своей души, в эпицентре своих годовых колец.

В результате он решил отвернуться от плетения слов и обратиться за советом к излюбленному своему искусству — к кино. Эти «гадания на волшебном экране» Коля Буратино практиковал и раньше, считая их в глубине души разновидностью спиритизма. Он позвонил одному своему преподавателю, большому эрудиту, и спросил:

— Рекомендуйте мне на ваш выбор фильм, где исчезает девушка. Полагаюсь на ваше спонтанное решение и на ваш вкус.

- Вы ожидаете, наверное, что я рекомендую вам «Леди исчезает» Хичкока, - прозвучал в трубке насмешливый голос (преподаватель был толст, и голос его звучал так, как будто хором говорят

три насмешливых человека), — но я, конечно, рекомендую вам «Приключение» Микеланджело Антониони, один из моих самых любимых фильмов. Выше этого, знаете ли, я ставлю только «Ночь охотника».

Поленов последовал совету учителя, и вскоре он уже сидел в домашнем кинотеатре одного своего приятеля и смотрел «Приключение» на довольно большом экране. При этом он надел наушники и поставил кассету с лекцией своего учителя, посвященной этому фильму. И снова этот троящийся голос стал вливаться ему в уши, словно три толстяка окружили его, трое невидимых, насмешливых, задыхающихся, и они говорили:

«Вспомним Антониони, "Приключение". Компания молодых богатых людей, юношей и девушек, приезжает на остров с целью приятно провести время. Остров каменистый, его нетрудно обойти целиком. Какое-то время они, рассыпавшись по острову, гуляют. Когда приходит время уезжать, обнаруживают, что одна из девушек исчезла. Поиски ни к чему не приводят — ни тела ее, ни ее живую найти не удастся. Затем фильм длится долго. В дальнейшем разворачиваются некие события, происходящие с членами этой компании. Вначале зритель по той инерции, которая воспитана в нем детективным жанром, еще ожидает, что последующие события прольют некий свет на то происшествие, которое имело место в начале фильма. Но чем дальше время фильма уносит нас от его начала, от исчезновения, тем отчетливее мы понимаем: никто из этой компании не замешан в исчезновении девушки, ничего о нем не знает. Это отсутствие скрытого, отсутствие подтекста в конечном счете представляет собой тайну. Можно сказать, отсутствие секретов в этом фильме и составляет тайну. Некоторые эпизоды связаны с ревностью, другие с томлением. Один эпизод, пожалуй, может

служить эмблемой этого сюжета. Некий юноша из среды золотой молодежи томится и где-то бродит, выглядя при этом, как все остальные, красиво, модно и стильно. Он постоянно играет с неким отвесом, с гирькой на шнурке. Такой отвес используется на строительных работах для высчитывания прямого угла. В какой-то момент он видит человека, который разостлал на земле большой лист бумаги и делает на нем тщательный рисунок тушью. Рисунок напоминает чертеж. На его изготовление явно ушло много сил и времени. Человек с отвесом подходит к рисующему, смотрит на него, раскачивая грузик на веревке. Затем небрежным жестом опускает руку, и грузик задевает баночку туши, тушь разливается по рисунку, по чертежу. Денди с грузиком спокойно уходит, оставив в полном недоумении, в шоке человека, создавшего чертеж. Этот эпизод собирается сообщить нам нечто о структуре фильма в целом. Инструмент, которым обычно устанавливается ясность, выпрямление, этот инструмент приведен в катастрофическое столкновение с ясным изображением, с очень четким чертежом. Вместо того чтобы войти с ним в конструктивное соприкосновение, он входит с ним в деструктивное соприкосновение. Ударом отвеса денди опрокидывает тушь и портит чертеж. Возникает расплывающееся пятно. Фильм Антониони в целом воспроизводит удар отвеса по банке туши. Мы видим сплошную ясность, сплошную четкость. Каждый персонаж внятно и четко обозначен. Все места действия - остров, дворец, курорт, гостиница, шоссе, пустыня - обозначены с чертежной простотой и ясностью. Все обладает прямыми углами и линиями. Но именно за счет удара прямоты о прямоту, ясности о ясность, образуется эффект неисчерпаемой тьмы, которая изнутри заполняет этот абсолютно ясный и светлый фильм. Тайна открылась, как

открывается пятно, поглощающее изображение. Но суть в том, что тайна не есть истина».

Буратино посмотрел фильм до конца, но покидать кинозал не спешил. У него возникло ощущение, что он вот-вот поймет нечто, имеющее непосредственное отношение к исчезновению Юли Волховцевой. Его гениальный учитель с его троящимся голосом и тройным подбородком дал ему верную наводку — этот фильм содержал в себе нечто, что обещало раскрыть тайну. Он поставил фильм заново, снова перед ним возникла компания молодежи, яхта, море, остров... Любовные нити, сплетающиеся в подобие сюжета, оставались несобранными в цельный узор, ткань этого повествования странно обрывалась... Буратино достал из кармана небольшой пузырек коричневого стекла, шприц в полиэтиленовой упаковке. Он надорвал упаковку, извлек шприц, набрал немного прозрачной, словно родниковая вода, жидкости. Ему не хотелось отвлекаться от фильма, закатывать рукав и прочее, поэтому он просто, не глядя, вонзил шприц себе в ногу, в мышцу бедра сквозь ткань брюк и нажал на пластмассовый поршень.

Экран словно бы надвинулся, разросся. Черно-белое изображение приобрело оттенок сепии, словно бы его изнанка увлажнилась, черно-белое море стало живым, и дрожащая яхта, и сырость камня, и белизна солнца на скалах — все лилось оттуда без помех, без изъяна, как будто струилось из кранов истины.

Колю немного унесло, а когда он вернулся в сюжет, то увидел молодую женщину в черном платье, которая медленно шла по белому коридору отеля, ведя рукою по стене, по тонкому бордюру, состоящему из морских звезд. Иногда она растопыривала пальцы (на одном из них ярко блестело обручальное кольцо) и прикладывала руку к оче-



Колю немного унесло.

редной пятиконечной звезде — рука и звезда сливались, и казалось, что стена вот-вот раздвинется, считав информацию с ее горячей ладони, но стена не раздвигалась, она оставалась белой, с прожилками и светильниками, и женщина все шла среди тревожной ясности этого коридора, и все никак не видно было ее лица: только шея с тонкой цепочкой над краешком платья, и волосы, собранные ракушкой, перевитые жемчужной нитью...

Коридор приводил ее в холл гостиницы, где, по законам ночи, царило безлюдье и не звучала даже музыка, и только множество пустых диванов и ярко лучащихся ламп... на одном из диванов полулежала, обнявшись, парочка - молодой человек в черном костюме и девушка в черном коротком платье, с нитью жемчуга на шее — они целовались, и девица по-кошачьи ластилась смуглыми голыми ногами к ногам мужчины, а заодно и к коже дивана...

Целующиеся целовались все медленнее, все томительнее, словно бы сонливость и сладострастие произрастали в их телах параллельно, и вся эта сцена со всеми ее лампами, диванами, колоннами и жемчужинами застывала, будто погружаясь в прозрачный мед...

Девушка (та, что шла по коридору отеля) вдруг повернулась, и на Колю Поленова взглянуло лицо Юли Волховцевой. Юля казалась старше, словно прошло много лет, и ей теперь стало лет двадцать пять. Словно бы прошли какие-то годы... А куда прошли? Зачем? Какие такие годы?

Коля Поленов сидел, как замороженное поле-но, окончательно одеревенев, но в глубине бревна происходила волшебная деятельность — сквозь иней наркоза шли они — годы, gods, боги — и обрачивались годовыми кольцами, медленно расширяя мечтательное тело парня.

Коля Поленов проснулся через несколько часов после очень глубокого сна. Экран перед ним был темен, фильм кончился, в соседних комнатах все спали.

Коля тихо вышел на улицу, осторожно прикрыв за собой дверь. Был час перед рассветом.

Коля шел по ночным бульварам мимо Чистых прудов (собственно, пруд-то один), и думал о том, что Юля убита, что ее задушили, и сделала это девушка, Юлина ровесница, незнакомая Коле. Причина убийства - ревность. Такие выводы сделал Коля из своего «гадания по кино».

Незнакомая Коле девушка... Да, незнакомая, но он должен был видеть ее на Казантипе, хотя бы мельком, хотя бы краешком глаза.

Внезапно девичья фигура на роликах обогнала Колю: девушка затормозила на секунду, оглянулась и сразу же продолжила бег — одинокая, тонкая, стремительно несущаяся фигурка среди пустынных бульваров ночи. Коля видел ее профиль лишь долю секунды, она была в шлеме с ремешком, обхватывающим ее подбородок — и вдруг уверенность, что это она, она самая, убийца Юли Волховцевой, пронзила его сердце. Он побежал за ней. Его длинные ноги, буратиновые, словно на шарнирах, стучали об асфальт, и отталкивались, и бежали без усталости. Коля хорошо бегал. Но девушка на роликах была быстрее. В какой-то момент казалось, что она собиралась подождать своего преследователя, она затормозила, сделала вираж, еще раз оглянулась, но затем внезапно испугалась бегущего к ней человека и исчезла в одном из переулков, сопровождаемая резким эхом шаркающих роликовых коньков и беспомощным окликом Буратино.

На следующий день Катя Сестролицкая, Яша Яхонтов, Коля Поленов и Маша Аркадьева дого-

ворились встретиться, чтобы обменяться новостями и соображениями. Встретиться решили дома у Маши, хотя это была самая тесная и неудобная из квартир, но у Маши опять тяжело заболела бабушка и Маша не могла ее оставить ни на секунду.

Встретились в этой старой коммунальной квартире, где уцелел еще тот священный полураспад, который, как считается, должен весь сгинуть, испариться и уничтожиться в жерле евроремонта, уйти вместе с ушедшим пять лет тому назад двадцатым веком. Но, слава богу, есть еще на свете разошедшиеся кухонные столики, узорчатые клеенки с горелыми кругами от горячих чайников и сковородок, подвешенные под потолком велосипеды, дырявые ситцевые занавески, книги, календари и прочие вещи, без которых продолжать жизнь не имело бы никакого смысла.

Маша, Катя, Коля и Яша любили все это, поскольку детям свойственно любить старое: рухлядь, помойки, кладовки, стариков, чердаки и подвалы с тайнами... Им к тому же нравилось, как смотрятся на этом фоне их свежие фигурки, одетые по последней моде, их огромные перламутровые ботинки со светящимися шнурками, их яркие майки, серебристые плееры с пушистыми наушниками, крошечные мобильные телефоны со светящимися экранчиками, модные легковесные лэптопы и ноутбуки... и прочий хлам уже новейшего свойства.

На стыке этих двух вещевых миров они и жили, причем старое и уходящее демонстрировало гораздо большую прочность, оно хорошо держалось и пустило глубокие корни, которые достигали самой сердцевины жизни, тогда как новое быстро ломалось, устаревало или выходило из моды и заменялось другим новым. Вот так и молоденькая Юля Волховцева исчезла куда-то, и уже другие принцессы рейва плясали на вечеринках, другие

девочки ходили по подиуму, а бабушка Маши Аркадьевой все была тут как тут, все она жила, то впадая в бред и забвенье, то агонизируя, а то вдруг выздоравливая и неожиданно бурно убегая по своим делам. Но тут-то она слегла не на шутку, дня три уже не возвращалась в сознание, и Маше приходилось оставаться все время при ней.

Друзья встретились в комнате с круглым столом, где было много вещей, а за ширмой лежала больная бабушка.

Маша налила всем чая, разрешила торт, откупили и бутылку красного вина, принесенную кем-то с собой. Было и покурить. Пустили по кругу трубочку мира, выпили вина. Стало как-то хорошо, задушевно, по-вечернему. Затем стали рассказывать друг другу результаты своих расследований. Катя Сестролицкая поведала о женщине-экстрасенсе и о словах ее, что Юля жива и находится в белой комнате, где много мужчин и женщин и где она ест что-то вкусное.

Затем Маша Аркадьева рассказала о своем визите к родителям Юли.

- Они сами и украли Юлю, — сказала она убежденно, — украли и спрятали. Зачем? За этим какая-то политическая игра. Ее отец — секретный ученый, работает на военных. Возможно, изобретает страшные новые средства уничтожения людей или же контроля над их сознанием — кто знает? Наверное, они прослышали, что дочь их хотят похитить, чтобы шантажировать его, выманить у него военные секреты. И они решили предвосхитить события...

Яхонт вынул мобильный телефон, глянул на экранчик.

- Я сегодня утром получил эсэмэс от того старика, который ехал с нами в поезде. Его зовут Сергей Сергеевич Курский. Он пишет, что у него есть новости по этому делу. Извини, Маша, что не

предупредил, но я его пригласил сюда. Он должен прийти с минуты на минуту.

Все напряженно посмотрели на дверь.

И, словно повинувшись этому напряжению, в дверь позвонили.

Но вместо Курского за дверями квартиры стоял какой-то бомж. Он был неряшливо во что-то завернут, закутан и обвязан. Хитро блестели глазенки на грязном небритом лице. Пахнуло характерной вонью, опознавательным знаком бомжей. Бомжи воняют насыщенно, упорно, с нажимом — им есть что сказать своей вонью.

— Кто вы? Что вам нужно? — спросила Маша Аркадьева, открывшая дверь.

— Я от Сергей Сергейча, — хрипло произнес бомж. — Велено передать, — он протянул грязный запечатанный конверт.

Маша глянула на конверт: там четким старомодным почерком значилось: «for those whom it may concern».

— Заходите, — распорядилась Маша. — Может быть, хотите чаю?

Бомж кивнул, зашел в комнату, но садиться не стал и пил свой чай стоя, хитро блестя глазками. Внезапно он произнес:

Эх, раньше власть была советская,
Она же — соловецкая.
Эх, раньше власть была свиная,
Она же — соловьиная.
А ныне сучья власть
Да жучья власть —
Не навластовать вась влась!

Маша распечатала письмо и прочла:

«Дорогие друзья!

Сожалею, что не смог сегодня посетить вас. Прошу кого-то из вас подойти завтра на Курский вокзал в 8.00. Я буду ждать вас на платформе 8.

Искренне ваш
С. С. Курский»

— Где он передал вам эту записку? - повернулась Маша к бомжу.

Бомж наморщился, согнул ноги в коленях, словно собирался пострять, и произнес:

Мы были Третьим Римом,
А стали Третьим Миром,
И живем мы за Европой,
За ее единой жопой,
Под глобальным под кульком,
Под мериканским каблуком.
Власть шпионит за страной,
А докладывают — домой.
В белый, белый, белый дом,
Где живет зеленый гном.
Гнома звать Джон Буш — Бен Ладен,
Дышат гном и дом на ладан.
Скоро всю цивилизацию
Наебнет глобализация...

И ворвутся злые рейнджеры,
Молодые все, тинейджеры,
В нашу русскую столицу —
Будут пить и веселиться.

Ну а нам что? Все равно.
Богом все предрешено.
Знала Русь похуже власти
И прошла гнусней напасти,
Сгинет все - не ссы, не трусь:
Не умрет святая Русь!

И он заговорщицки подмигнул девочкам и мальчишкам. Те взирали на этого странного бомжа в каком-то оцепенении. Они, конечно, знали про древнюю и почтенную традицию политического юродства, слышали о царских шутах и блаженных, но зачем Курский прислал им сюда этот сочный фрукт — они не понимали. В политграмоте они вроде не нуждались, все это и так было ежу понятно, да и не очень их и интересовало это. Неясно было, что с этим экземпляром делать — то ли

выставить его за дверь, то ли налить ему стакан вина?

Уходить бомж не собирался, он странно топтался, кряхтел и постоянно разглядывал всех по очереди пристальными блестящими глазками. Прикинули, не загримированный ли это Курский — но нет, явно этого быть не могло: совершенно другой человек, ничем на старого следователя не похожий.

Наконец ему все же налили стакан вина и решились, пошептавшись, дать денег, но, как назло, денег у всех почти не было. Собрали по карманам двести рублей, отдали бомжу. Тот выпил вино залпом, вытер рот рукавом, спрятал деньги, попросил сигарету, затянулся и продекламировал очередную не то песенку, не то частушку из глубинного народного литфонда. Стишок на этот раз не имел политической окраски:

Не люби ты меня, милай, под березою,
Не люби ты меня, милай, да тверезую.

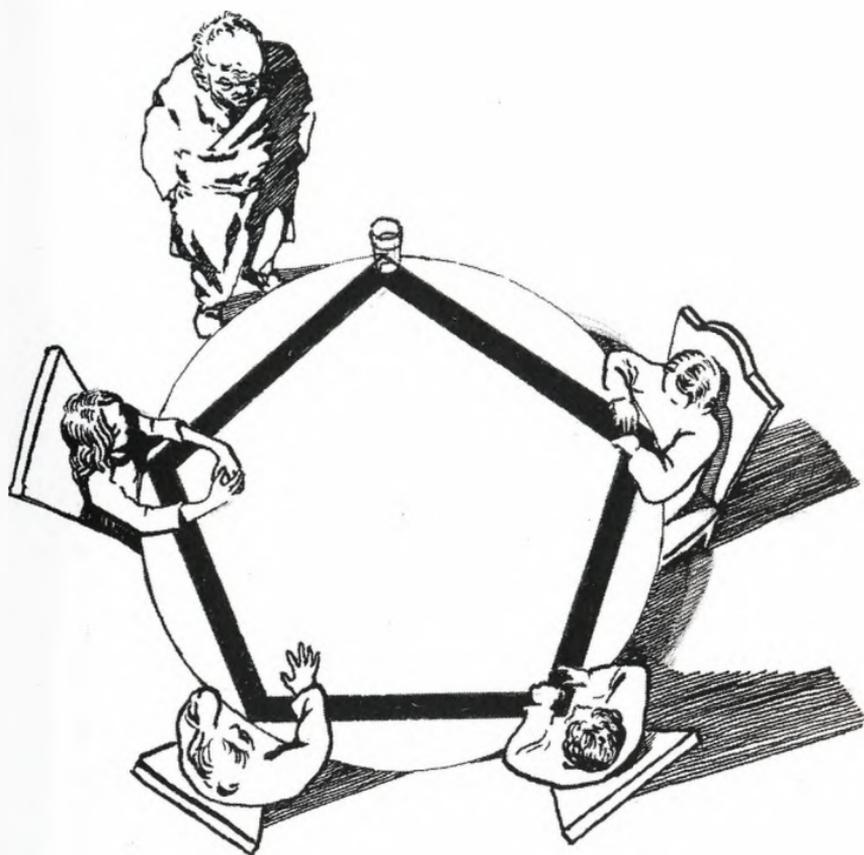
Не люби ты меня да под елочкой,
Не коли мне сердечко иголкой.

Поцалуй меня да за бурьянами,
Тай полюбим друга дружку мы пьяными.

Положи мене в саду да на грядочку —
Во хмелю-то та любовь без оглядочки.

— Вот как — «без оглядочки»! — торжествующе повторил бомж, блестя своими ежиными глазками. С этими словами он вроде бы хотел повернуться и уйти наконец (этого все ждали уже с нетерпением). Он засунул грязную руку за пазуху, достал к всеобщему удивлению визитную карточку и протянул ее Маше.

На карточке она прочитала: «Плетнев Геннадий Яковлевич, академик РАН, заслуженный...» Далее шло перечисление научных титулов.



Уходить бомж не собирался.,

— Даже если вы - академик, тем более незачем так опускаться! От вас воняет.

- Я знаю. Это маскировка, — сказал бомж. — Я один из лучших ученых нашей страны. Но меня никто не знает, не ведает — я много работал в секрете, в ящиках. Меня контролировали, я все время находился под надзором. Уж больно ответственными вещами я занимался... Но в августе этого года я сбежал. Меня ищут, а найти не могут. Поди найди иголку в стоге сена, — бомж хихикнул. — Страна у нас пока еще большая. И, может быть, с моей помощью и впредь будет большая. А это, поверьте мне, очень важно, чтобы была большая страна. И чтобы эта большая страна была совершенно другой, чем все другие страны. Вы, может быть, еще не совсем понимаете, как это важно. Но вы поймете.

Ребята настороженно смотрели на бомжа. С одной стороны, он казался безумным, с другой стороны, не только мания величия и шизофреническая хитрость, но и некая мудрость, некое тайное знание иногда мелькали в его простом лице. И еще что-то заставляло их всматриваться в это лицо, некое сходство... Особенно девочки — Маша Аркадьева и Катя Сестролицкая — не могли отвести взгляд от этого лица, словно что-то им мерещилось в нем и какая-то догадка дразнила мозг и вертелась на языке.

И вдруг Маша догадалась:

— Вы... Ведь вы? — она взглянула на бомжа вопросительно.

- Ты права, - хихикнул бомж. - Узнала? Молодец. Говорят, она в меня. Простите, что не сказал вам сразу: я дедушка вашей подруги, которую вы разыскиваете.

Все словно выдохнули. Сходство с Юлей Волховцевой было очевидным. Ситуация снова вывернулась наизнанку, как шпионское пальто.

- Мы с Юю всегда были лучшие друзья. Это я ее так зову - Юю. Она жила в основном у меня.

Бомж достал из-за пазухи маленькую цветную фотографию: на ней семилетняя Юля целовала в щеку свежего пожилого человека — если вычесть бомжовскую щетину, грязь и всклокоченность, это был, без сомнения, он — тот, кто пил здесь сейчас красное вино.

- Вам известно, где она? — спросила Маша.

Бомж почесал щеку, усмехнулся, блеснул глазенками.

- Она исчезла. Исчезла по-настоящему. Вам даже не понять, что это значит — исчезновение. Она не умерла, не убежала, не уснула, не изменилась — она просто исчезла. Но это временно. Она появится снова. Скоро, — он усмехнулся. — Вы, конечно, не слышали про «эффект Плетнева — Волховцева»? Ну да, откуда вам знать. Это — открытие века, без лишней скромности говорю. Мы разработали это дело вместе с ее отцом, мужем моей дочери. Но идея и все основные расчеты — мои. Волховцев предал наше дело, он стал торговать нашим знанием — ну что ж, Бог ему судья. Но он не все знает. Не все карты я открыл ему.

Бомж снова хитро усмехнулся.

- Вы следите за войной в Ираке? — спросил он неожиданно.

Ребята переглянулись. Никто из них не следил за войной в Ираке.

- Войска западных стран вторглись в Ирак, потому что им стало известно, что там находится оружие массового уничтожения. Но они ничего не нашли, и теперь все думают, что этого оружия там никогда не было. А оно было, просто оно исчезло. Его никто не прятал, не перемещал, не крал... Оно исчезло на некоторое время, и не без нашей с Волховцевым помощи. Мы изобрели эффект временного исчезновения. Речь идет об обратимой дема-

териализации предметов и тел. Звучит фантастично, понимаю. Но тем не менее... Не стану излагать техническую и научную суть нашего открытия — вы не поймете. Мы работали над этим много лет. Скажу коротко: независимость нашей страны под угрозой. Очень вероятно, что нас скоро вынудят открыть наши самые тайные оборонные предприятия для международных инспекций, как это было в Ираке. Мы решили подготовиться к этому моменту. Нам нужно было изобрести прием, с помощью которого некоторые очень важные вещи и целые установки могут исчезать без следа, но на определенное время - на заранее заданное время. Исчезать и затем вновь появляться. Мы сделали это. Мы - не без иронии — назвали наше оружие «Пентагон». Впрочем, это название не просто шутка, оно касается структуры самого эффекта. К тому же мы хотели присвоить себе имя врага — старинная магическая процедура. В холодной войне сверхдержав - Америки и СССР - победила Америка: это была, если угодно, дуэль между двумя пятиконечными звездами — белой и красной. Почему белая звезда победила? Потому что она была поддержана рамкой звезды — фигурой Пентагона, которая образуется при соединении кончиков лучей звезды равными отрезками. Фигура Пентагон — этот домик, этот, как мы его называли, смеясь, скворечник, - это идеальная ловушка. В этой ловушке и застряла наша красная звезда. Теперь эта ловушка может сработать и в обратном направлении. Мы поймаем их в их собственную западню.

— Разве все это актуально — борьба с Америкой и прочее? - спросил Коля Поленов.

— Дело не в Америке. Я к Америке отношусь с симпатией. Дело в нас. Дело в нашей душе. В нашей общей душе. Она была непостижимой тайной, а теперь ее вывернули наизнанку, выпотро-

шили... Нам надо восстановить эту тайну — с помощью секретного знания об исчезновении — а иначе нет смысла жить, разве не понимаете? Юю это очень хорошо понимала, поэтому и попросилась участвовать в эксперименте. Она с детства вникала в мои дела, я с ней всегда делился своими самыми сокровенными мыслями. До августа этого года мы производили обратимую дематериализацию только неодушевленных объектов. Но настало время попробовать действие «Пентагона» на живом человеке — и Юля захотела стать первой, кто исчезнет без следа, а потом снова появится.

Обратимое исчезновение человека — это сложная вещь. Это может произойти только в экстремальных условиях, например, во время большого сражения. Максимальное напряжение большого количества людей, динамика тел в пространстве, изменения полей... Я разыскал смутные исторические свидетельства о подобных исчезновениях во время больших битв — при Бородине, например. Но это были спонтанные, «дикие» исчезновения. Нам же требовалось достичь управляемого эффекта. Посылать Юлю на войну — это было слишком опасно. И она предложила использовать в качестве суррогата битвы большой рейв. Настоящий рейв в свои пиковые моменты — это своего рода блаженный вариант сражения. Поэтому Юля отправилась на Казантип. В ее рюкзаке находился «Пентагон». И все сработало - она исчезла. Завтра истекает срок ее запланированного отсутствия в мире. Завтра она должна появиться. Может быть, она расскажет вам, что означает — не быть. Пентагон в наших руках, и мы не бессильны. Тайна нашей души будет восстановлена. Может быть.

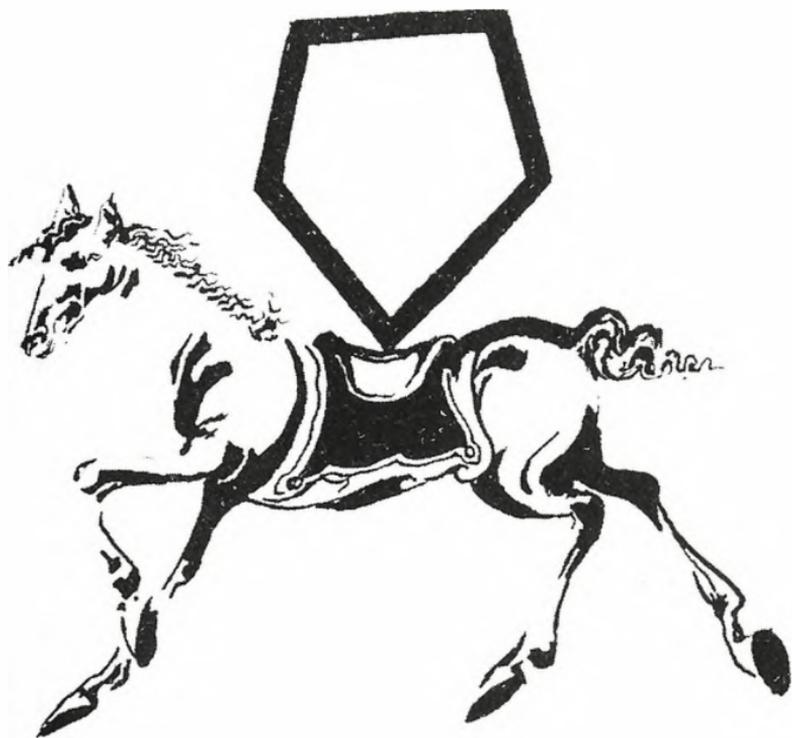
С этими словами бомж встал.

- Вы гоните! Это - гон! — неожиданно взорвался Яша Яхонтов.

— Очень пронизательно, молодой человек. Это — пента-гон. Пентагон сейчас на коне. Глянь-те, — бомж опять достал из лохмотьев цветную фотографию, вырванную из журнала: всем известное здание Пентагона в Вашингтоне, имеющее форму пятиугольной ячейки сог.

— Здание Пентагона является одним из самых огромных по площади строений мира. В 1941 году бригадный генерал Соммервелл и архитектор проекта Джордж Э. Бергстром предложили построить огромное офисное здание для Военного департамента США. Менее четырех суток потребовалось им, чтобы разработать проектное предложение гигантского трехэтажного здания с тщательно проработанной инфраструктурой. Проект предполагал пятиугольное в плане здание с площадью помещений около четырех миллионов квадратных футов и большим внутренним пространством. Здание Министерства обороны США, Department of Defense, — крупнейшее офисное здание в мире. Площадь офисных помещений Пентагона в три раза больше, чем у стодвухэтажного нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Здание Капитолия может пять раз вписаться в Пентагон. Резиденция Министерства обороны построена в форме правильного пятиугольника. Данная форма появилась благодаря «силе вещей» — архитекторы выбрали ее, чтобы не разрушать пять важных автомагистралей, проходивших вокруг выделенного под строительство земельного участка. Любопытно, что Пентагон строился в одном из наиболее бедных районов, прилегающих к Вашингтону, который носил неофициальное название «Дно Ада», Hell's Bottom.

Это здание было построено для того, чтобы объединить все военные агентства страны, ранее разбросанные в беспорядке по всему Вашингтону. Перед началом Второй мировой войны Минис-



Пентагон сейчас на коне.

терство войны США/US Department of War, предтеча Министерства обороны, располагало 24 тысячами сотрудников, которые работали в 17 различных зданиях — на поддержание связей между ними уходило много времени и ресурсов. Президент США Франклин Делано Рузвельт запросил у Конгресса разрешение построить общее здание для всех военных агентств. Строительство нового здания, способного вместить более 40 тысяч сотрудников, началось 11 сентября 1941 года. Ровно через 60 лет, день в день, один из сегментов здания был полуразрушен во время знаменитой террористической атаки на Нью-Йорк. Якобы в Пентагон врезался самолет. Якобы...

Здание возводилось с помощью технологий, которые должны были обеспечить соблюдение двух главных требований заказчиков — скорость строительства и низкую стоимость. На стройку ушло почти 344 тысяч кубометров бетона. Где только возможно, строители избегали использовать стальные балки и иные детали, поскольку США находились в состоянии войны и сталь была необходима для фронта. Ныне считается, что это позволило сэкономить 43 тысячи тонн стали, что достаточно для строительства линкора. Было приказано избегать и иных излишеств, поэтому фасад здания не был облицован традиционным мрамором — строители удовлетворились облицовкой из известняка, добытого в штате Индиана. В отличие от других правительственных зданий, ранее строившихся в столице Соединенных Штатов, у Пентагона отсутствуют архитектурные украшения — тогда его даже прозвали зданием в стиле «модерна Муссолини». Строительство здания было закончено в рекордные 16 месяцев. На строительство Пентагона было потрачено около 83 миллионов долларов.

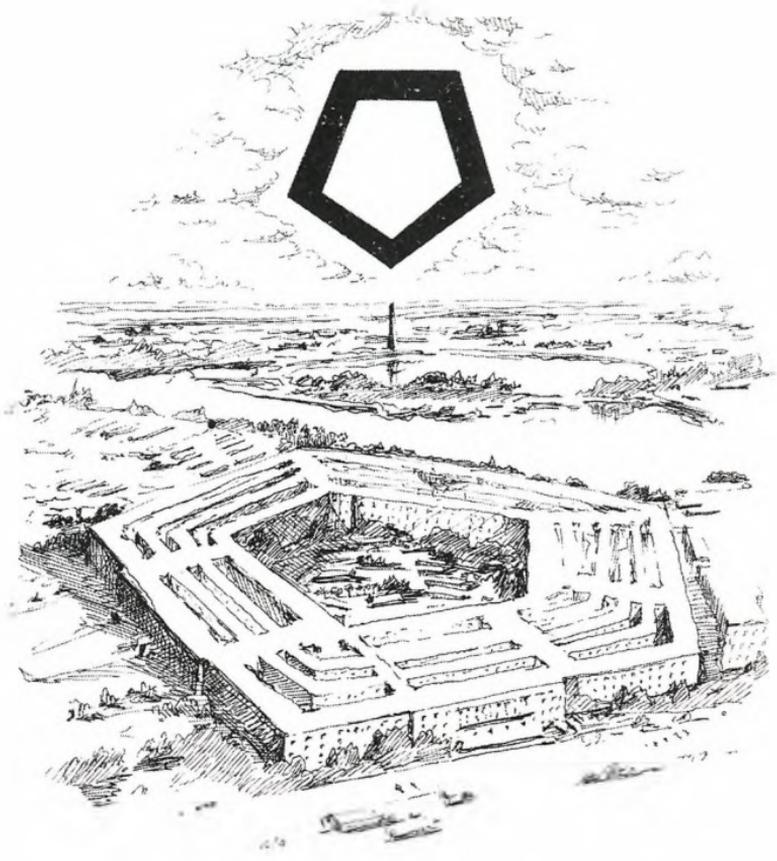
В результате талантливо подготовленного проекта Пентагон стал одним из самых эргономич-

ных офисных зданий в мире. Несмотря на то что его коридоры тянутся более чем на 28 километров, служащим требуется только 7 минут для того, чтобы пройти расстояние между любыми двумя точками в здании. Это возможно благодаря специальному дизайну коридоров: они образуют пять концентрических колец и 10 лучеобразных «спиц». Тем не менее даже некоторые ветераны-сотрудники иногда запутываются в коридорах здания. Существует местная шутка, что однажды курьер почтовой службы Western Union не мог выбраться из лабиринта коридоров на протяжении трех дней. Когда же ему удалось это сделать, он выяснил, что ему присвоили звание полковника.

По данным сайта Think-Quest, в Пентагоне ныне работают более 23 тысяч человек — как военных, так и гражданских лиц. То есть «население» Пентагона по численности превышает население 90% городов США. Ежедневно в здании производится более 200 тысяч звонков, сигналы которых проходят по телефонным кабелям, чья длина составляет почти 161 тысячу километров. Местная почтовая служба ежемесячно доставляет более 1,2 миллиона писем, бандеролей и посылок. В здании существует несколько библиотек, только в одной из них хранится более 300 тысяч книг и 1,7 тысяч наименований журналов и газет на разных языках. Для сотрудников, которые приезжают на работу на машине, существует 16 парковок, вмещающих почти 9 тысяч автомобилей. Сотрудники ежедневно поднимаются по 131 ступеньке или 19 эскалаторам для того, чтобы дойти до своих офисов. В здании — 7,8 тысяч окон, 4,2 тысячи настенных часов, 691 фонтан питьевой воды, 284 туалетные комнаты. Ежедневно сотрудники поглощают 4,5 тысяч чашек кофе, 804 литра молока и 6,8 тысяч безалкогольных напитков. Пентагон имеет одну столовую, 2 кафетерия, 7 буфетов, один

из них на открытом воздухе — в центре гигантского пятиугольника.

Американские журналисты выявили следующую закономерность: если среди ночи сотрудники Пентагона заказывают в близлежащих пиццериях особенно большое количество пиццы, это означает, что высокопоставленные чиновники и военные допоздна засиделись в своих кабинетах, следовательно, в мире грядут экстраординарные события. Эта примета получила название «Принцип "Домино"» благодаря названию сети пиццерий «Доминос». «Принципом "Домино"» была также названа внешнеполитическая теория, согласно которой победа коммунистов во Вьетнаме вызовет цепную реакцию в регионе Юго-Восточной Азии. 15 января 1991 года пиццерии Domino's получили необычно большое количество заказов из ряда государственных учреждений, расположенных в Вашингтоне. На следующий день началась операция «Буря в Пустыне», Desert Storm, в результате которой иракские войска были изгнаны из Кувейта. Пиццерии также отмечали резкий рост заказов перед вторжением войск США в Панаму и Гранаду, а также в период наиболее значимых международных кризисов. «Принцип "Домино"» имеет определенные закономерности. О проведении военной операции в ближайшие часы свидетельствуют два признака. Во-первых, заказы начинают поступать после 10 часов вечера и продолжаются примерно до 2 часов ночи. Во-вторых, пик числа заказов наступает после полуночи. В обычные дни ночью сотрудники Пентагона заказывают 35—50 пицц, в преддверии военных действий их число увеличивается до 2—3 тысяч. «Принцип "Домино"» подтвердил свою точность и в отношении военных операций и переворотов, проводимых иными государствами. Например, в 1991 году, перед началом путча ГКЧП в Москве,



...резко выросло число заказов пиццы,
поступивших из Пентагона.

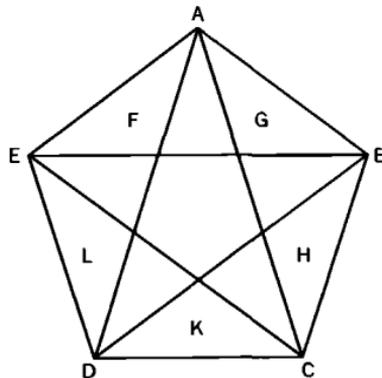
резко выросло число заказов пиццы, поступивших из Пентагона.

Ныне дают о себе знать устаревшие системы Пентагона. При строительстве здания использовались материалы, сейчас признанные крайне опасными для здоровья и жизни человека — такие как свинцовосодержащие краски и асбест. Начиная с 1953 года состояние систем теплоснабжения, кондиционирования и так далее не соответствует санитарным стандартам США. Канализационные трубы текут, а некоторые из них настолько проржавели, что их можно проткнуть карандашом. В 1991 году произошло настоящее наводнение — оно даже угрожало электронной системе коммуникаций, с помощью которой производилось управление американскими войсками во время войны в Персидском заливе. Пассажирских лифтов в здании нет. Двери 13-ти грузовых лифтов сконструированы по принципу гильотины, что приводит к многочисленным травмам головы у неудачливых пассажиров. Перегруженная электропроводка ежедневно приводит к четырем десяткам коротких замыканий и прекращению подачи энергии в разных уголках здания.

С 1993 года ведется поэтапная реконструкция Пентагона, на которую выделено 1,2 миллиарда долларов. Так как невозможно закрыть все здание одновременно, пять секций Пентагона ремонтируются по отдельности. Кроме замен устаревших систем, укрепляются фундамент и стены здания, обычные стекла заменяют пуленепробиваемыми. Первая отремонтированная секция Пентагона должна была быть открыта для использования 16 сентября 2001 года, однако пятью днями раньше, 11 сентября, террористы якобы направили на нее авиалайнер компании American Airlines. Официальные лица США утверждают, что в результате теракта погибли 125 сотрудников Пентагона,

но считается, что число жертв могло бы быть намного выше, если бы работы по усилению структуры здания не были к тому времени проведены. Ныне разрушенная взрывом секция Пентагона отремонтирована и находится в рабочем состоянии. Возле нее установлена известковая плита, на поверхности которой, почерневшей от взрыва, написано «11 сентября, 2001».

Слово «Пентагон» происходит от греческого *pentagonon* — пятиугольник.



Однако эта фигура имеет и другое название — «пентаграмма» (от греческого *pentagrammon*, *pen*te — пять и *gramma* — линия), что означает правильный пятиугольник, на сторонах которого построены равнобедренные треугольники одинаковой высоты.

Диагонали Пентагона образуют пятиугольную звезду. Точки пересечения диагоналей всегда являются точками «золотого сечения». При этом они образуют новый Пентагон *FGHLK*. В новом Пентагоне можно провести диагонали, пересечения которых образуют еще один Пентагон, и этот процесс может быть продолжен до бесконечности. Таким образом, Пентагон *ABCDE* как бы состоит из бесконечного числа пентагонов, которые образуются точками пересечения диагоналей. Эта бесконечная повторяемость одной и той же геоме-

трической фигуры создает чувство ритма и гармонии, которое неосознанно фиксируется нашим разумом.

В пентаграмме можно найти огромное количество отношений «золотой пропорции». Например, отношение диагонали Пентагона к его стороне равно «золотой пропорции».

Рассмотрим теперь последовательность отрезков FG , EE , EG , EB . Легко показать, что они связаны следующим отношением...

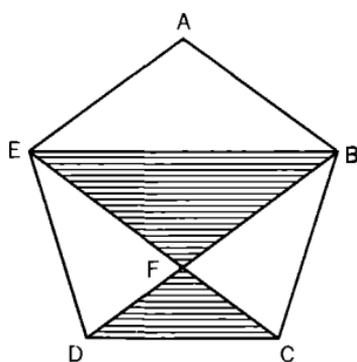
Бомж быстро написал формулу:

$$\frac{EF}{FG} = \frac{EG}{EF} = \frac{EB}{EG} = \tau.$$

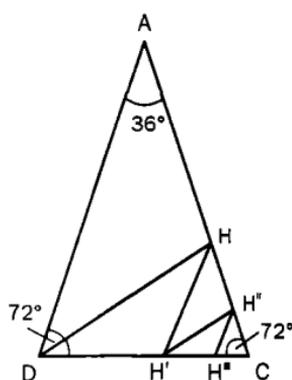
Пентаграмма всегда вызывала особое восхищение у пифагорейцев и считалась их главным опознавательным знаком.

Пентаграмма включает в себя ряд замечательных фигур, которые широко используются в произведениях искусства. В античном искусстве широко применялся так называемый «закон золотой чаши», который использовали античные скульпторы и золотых дел мастера. Заштрихованная часть пентаграммы на рисунке дает схематическое представление о «золотой» чаше.

Бомж нарисовал на обороте фотографии еще две фигуры:



«Золотая» чаша



«Золотой» треугольник

- Пятиугольная звезда, входящая в пентаграмму, состоит из пяти равносторонних «золотых» треугольников, каждый из которых напоминает букву «А» («пять пересекающихся А»).

Каждый «золотой» треугольник имеет острый угол $A = 36^\circ$ при вершине и два острых угла $D = C = 72^\circ$ при основании треугольника. Основная особенность «золотого» треугольника состоит в том, что отношение каждого бедра $AC = AD$ к основанию DC равно золотой пропорции ϕ . Исследуя пентаграмму и «золотой» треугольник, пифагорейцы были восхищены, когда обнаружили, что биссектриса DH совпадает с диагональю DB Пентагона (на изображении пентаграммы) и делит сторону AC в точке H золотым сечением (на рисунке «золотой» чаши). При этом возникает новый «золотой» треугольник DHC . Если теперь провести биссектрису угла H к точке H' и продолжить этот процесс до бесконечности, то мы получим бесконечную последовательность «золотых» треугольников. Как и в случае с «золотым» прямоугольником и пентаграммой, бесконечное возникновение одной и той же геометрической фигуры («золотого» треугольника) после проведения очередной биссектрисы вызывает эстетическое чувство красоты и гармонии. Работая над эффектом Обратимого исчезновения, сокращенно ЭОИ, я учел все вышеизложенные обстоятельства. Именно наблюдение за свойствами Пентагона и позволило мне открыть механизмы ЭОИ. Кроме того, меня вдохновляло слово «гон» — охота, гонка за истиной. Когда я нарекал свое детище именем «Пентагон», я думал о двух литературных произведениях, вдохновлявших меня на работу. В качестве кода доступа к «Пентагону» я ввел полностью тексты этих двух произведений, написанных на русском языке, сложно скомбинировав их друг с другом. Мы ведь с вами все еще русские, и на-

шим главным оборонным и стратегическим предприятием является наш язык, наша литература.

Итак, два текста — рассказ Лескова «Чертогон» и поэма Корнея Чуковского «Бибигон». Лесков — это лес, а Корней — корни леса. Лески и корешки, так сказать. В рассказе Лескова юноша из провинции приезжает в Москву к своему дяде — богатому купцу. Дело происходит в конце XIX века. Юноша участвует в кутежах дяди, в его купеческих развратах... Там купцы рубят топорами искусственные джунгли в ресторане, где прячутся цыганки, одетые, точнее, раздетые, папуасами. Их ловят, ебут. Ебут оголтело, без огляточки. Так, как ебут на Руси. Потом купцы покупают бочонок липового меда и всем ямщикам, стоящим у ресторана со своими повозками, приказывают заденьги обмазывать колеса повозок медом. У нас в России все можно — только не мазать колеса медом! Но и этот грех прощается, потому что у нас Бог добр.

И вот, после всех учиненных распутств, они вдвоем — дядя и племянник — приходят в церковь. Дядя приказывает выгнать из церкви всех прихожан до единого и заказывает специальную древнюю службу под названием «чертогон». Дядя опускается на колени один, посреди пустого и полутемного храма. Звучат редкостные молебствия-заклинания, давно позабытые мирскою церковью. И вот посреди службы изумленный племянник видит, как дядю три раза подхватывает невидимая сила, поднимает его в воздух и три раза обрушивает его, шмякает им об пол. После этого дядя долго лежит распростертый ниц, не подавая признаков жизни. Затем с трудом встает — лицо мокро слезами, душа очистилась, на сердце светло. Спали с плеч грехи недавних дней. И все начинается снова — развраты, кутежи... Таков «чертогон». Литература девятнадцатого века, глубокая, как колодец. Там до сих пор что-то происходит,

в этой шахте — какие-то обвалы, крушения... Там кто-то живет. Этот колодец можно использовать как бомбоубежище, он и против атомных бомб укроет. А вот вам «Бибигон» — поэма советского классика для детей. Советская детская литература — это тоже бомбоубежище, поновее, со специальными карманами, со сложной вентиляционной системой. Очень глубокое. Оно сможет спасти нас и от оружия будущего. Американцы отсосут. Мы спрячемся у самых корней — у корней Чуковского. Бибигон — это маленький человечек, очень маленький, вроде муравья. В поэме описаны его приключения — кажется, он плавает в чернильнице, откуда автор пишет поэму. Проказник в общем. Безобидная, вроде бы, вещица — для детей. Но изнанка поэмы — черная скорбь, черная, как нефть, как чернила, в которых плавает Бибигон. Я разгадал тайну названия этой поэмы. В дневниках Чуковского есть печальная запись о том, что умерла его маленькая дочь. На этой странице дневника беглый рисунок — детская могилка с крестом, и подпись по-английски «Baby's gone» — «мальшка ушла». На соседней странице дневника запись о том, что автор начал писать поэму «Бибигон». Этот маленький человечек — символ удаления, ухода, исчезновения.

Вот и Юленька согласилась уйти — добровольно, отважно. Она теперь — бибигон. Ради Родины, ради нас всех. За Россию. Скоро у нас, у России, будут целые армии таких бибигонов, свободно скользящих между существованием и отсутствием. Возникнут существа и вещи с пунктирным типом существования. Разработка этих «пунктирных тел» — самого ритма исчезновений и появлений — это дело будущего. Как только это будет сделано, — нам нечего больше бояться. Мальшка Ушла, но она вернется. Я смазал медом колеса мирового механизма, и они теперь могут вращаться

вспять. Но чтобы Юля вернулась, нужна ваша помощь. Вход в структуру запуска Появления имеет форму Пентагона. Я заранее ввел код возврата — в старину это назвали бы заклинанием, магической пентаграммой, но это скорее пароль, как в банке. Четыре угла Пентагона — это вы. Лучшие друзья Юю, сопровождавшие ее в этом отважном путешествии. Пятая, верхняя, точка Пентагона соответствует самой Юю. Но для нее мне следовало подобрать заместителя — нечто, что замешало бы собою тот пробел, то зияние, что оставила Юю в мире, исчезнув. Нужен был яркий сигнал, имеющий цвет, запах и вкус, — мы называем такие вещи «синестетический суггестор», впрочем, это наш, лабораторный жаргон... Я выбрал в качестве такого сигнала-суггестора апельсиновый сок. Тревожная пульсация этого сигнала должна каждый раз отвлекать внимание от факта исчезновения. Почему я выбрал именно апельсиновый сок? Я люблю его. И Юленька его любит. Раньше я часто выжимал ей сок, даже купил соковыжималку. Да... Вы не застали, а в советское время этот апельсиновый сок означал что-то блаженное, недоступное, был знаком Запада, знаком свободы, знаком свежести... И вот что странно: за те месяцы, что длится Юлино исчезновение, на Украине совершилась Оранжевая революция. Апельсиновый сок стал кровью новой революции. Возможно, это побочный эффект нашего эксперимента по ЭОИ — трудно сказать. *Fleur d'orange* — украшение невест. Знак чистоты, невинности. Юля — сама чистота.

Апельсины всегда считались золотыми плодами. Апельсиновый сок — золотой сок. Ему и пристало наполнять собой «золотую» чашу Пентагона. У вас есть апельсиновый сок?

- Нет. Только чай и немного вина.
- А апельсины?
- Есть. Я бабушке купила.

лись со своих мест, стали четче и выпуклее, словно они напрягли мускулы.

— Представим себе вкус апельсинового сока. Свежий. Кисло-сладкий. Холодный. От него немного сводит десны. Пьем его мысленно. Глаза закрыты. Пьем. Освежает сухую гортань, стекает в горло холодком... тонкой струйкой уходит в глубину тела... Представим себе появление на земле огромных объемов апельсинового сока. Он вдруг появляется везде, отовсюду. Мы видим города: апельсиновый сок, яркий и светлый, вдруг начинает сочиться из трещин в земле, из люков, из окон, хлестать из водосточных труб... Он заполняет собой бассейны, реки, улицы, медленно, этаж за этажом, начинает поглощать здания. Это потоп. Потоп апельсинового сока. Мы видим, как то же самое происходит в лесах, в полях. Апельсиновый сок поглощает деревья. Уже у горных пиков плещется яркое, благоуханное море. Аромат такой, что кажется: космос это апельсин. Все. Абсолютное наполнение. Апельсиновый сок. Только он. Прозносим: «Юля, вернись!»

— Юля, вернись! — как замороженная повторила Маша, не открывая глаз.

— Юля, вернись! — упоенно прошептала Катя Сестролицкая.

— Юля, вернись! — просительно произнес Яша.

— Юля, вернись! — сказал Коля деревянным голосом.

— ЮЛЯ ВОЛХОВЦЕВА, ВЕРНИСЬ! - крикнул бомж и одним махом выпил стакан апельсинового сока.

Яркие струйки сока потекли по его заросшему щетиной лицу, по смраднему пальто...

Все вздрогнули, открыли глаза и стали осматриваться, словно ожидая увидеть появившуюся Юлю. Но ее нигде не было.

Зато за ширмой, где лежала больная бабушка, вдруг что-то заворошилось, что-то упало, и раздался странный звук, как будто с усилием прочищали горло или давились удушьем.

Затем странный, гулкий, как бы металлический голос, лишь отчасти напоминающий бабушкин, отчетливо и громко произнес:

— РУСЬ, ВСТАВАЙ! РУСЬ, ПРОСЫПАЙСЯ!

Маша одним прыжком метнулась к ширме и откинула ее в сторону. В постели сидела бабушка и сверкающими глазами смотрела на бомжа.

Странные волны бродили по лицу старухи, она вся сотрясалась, морщины словно бы текли по ее щекам, как циклоны над телом Земли. В самых глубоких морщинах словно бы вспыхивали электрические искры, в глазах отражался непостижимый свет, смешанный с безумным вытаращенным смятением.

— Юля юлит, Волховцева волхует, — бормотала старушка, уставясь на лицо бомжа. — Ишь ты, гений какой выискался! Гений Гена-крокодил. Все баюкал, все вынашивал свою чебурашеньку. Выносил, не утомился. Выносил свою Юленьку Какашеньку! Какашеньку!... — она захлебнулась и стала медленно запрокидываться куда-то, оседая, словно тающий снеговик, и совершенно другой голос вдруг вырвался из нее: жалобный, бабий, народный плаксиво-древний голосок, добравшийся до наших времен заболоченным ручейком, одиноко вьющим свои стародавние извивы:

— Нас поймали! Господи... Поймали в Пентагон! — запричитала бабушка. — Они нашу звезду красную, нашу девицу ясную поймали и в плен заковали! Пять лучей по пяти углам приковали! Пентагон — это тюрьма, тюрьма волшебная... Спасите Русь Святую, кто может! Спасите мою Русь, мою девочку, мою внученьку!... — старуха вдруг горько расплакалась, захлебнулась слезами и вдруг осела

на пол, как тяжелая опустевшая одежда. Голова ее изможденно упала на грудь, глаза прикрылись, из приоткрытых губ повисла серебристая струйка слюны — и вдруг что-то ясное и светлое появилось в ее опустевшем лице, словно за грязным, плотно заиндевелым оконцем пронесли на вытянутой вверх руке румяное яблоко.

И тут все оцепенели. Из приоткрытых уст старухи внезапно прозвучал тихий, ясный девичий голос Юли Волховцевой. Невозможно было спутать этот голос — это был, вне всякого сомнения, ее голос — она произнесла сначала фразу: «Я пью апельсиновый сок...» — тоном легкого, радостного изумления, как бы счастливого недоумения, а затем — уже с совершенно другими интонациями, усталым, спокойно-отрешенным голосом — она произнесла: «Меня нет. Я исчезла. Я - Пентагон».

И тут же тело старухи выгнулось, и... раздался хрип, затем она вдруг встала во весь рост, с умиленно-праздничным лицом, растопылив руки, как ватная баба на чайнике. И тут же забилась в тяжелом припадке. Маша бросилась делать ей укол транквилизатора. Все помогали ей.

Когда очнулись от этой суматохи, обнаружили, что божж ушел. Осталась только легкая вонь и выжатые половинки апельсинов. Бабушкин припадок под влиянием транквилизатора быстро пошел на убыль, старуха успокоилась, задремала, в лице ее образовалось нечто утешенное, довольное...

- За нами такие силы - утята, волкодавы... — бормотала она сквозь сон.

После того как она уснула, все почувствовали невыносимую усталость.

Стали быстро расходиться по домам. Маша Аркадьева едва смогла проводить гостей - как только закрылась за ними дверь, она уснула на диване, забыв раздеться.

Но долго поспать ей не удалось. Не прошло и часа, как ее разбудил телефонный звонок. В трубке звучал женский голос, и чувствовалось, что женщина с трудом сдерживает слезы:

— Простите, ради бога, за поздний звонок. Это Таня... Таня Волховцева, мама Юли. У вас был мой отец?

— У меня никого не было, — сухо ответила Маша.

Но Таня Волховцева не слушала ее. Сквозь подступающие рыдания она быстро говорила в трубку:

— Я знаю, он был у вас. Он сбежал из больницы, это уже в четвертый раз! Мне так стыдно — он совсем болен, мой отец. Он не в себе, вы сами наверняка поняли... Все время бредит. Юлино исчезновение dokonало его. Скажите, он не говорил, куда он собирается идти, к кому? Он совсем несамостоятелен.

— Я ничего не знаю. У меня бабушка болеет, и я не принимаю гостей, — Маша положила трубку.

На следующий день только Яша Яхонтов пришел на Курский вокзал. Маша не могла оставить бабушку, Катя Сестролицкая слегла с высокой температурой, Коля Поленов почувствовал приступ депрессии и спал у себя дома под снотворными таблетками. Яхонт один прошел сквозь людские пространства вокзала, ему казалось странным, что он встречается с человеком по фамилии Курский на Курском вокзале. Вообще Яша волновался — вчерашняя сцена с бомжом и бабушкой как-то болезненно ударила всем по нервам.

Курский ждал его на условленной платформе.

— Значит, вам передали мою записку? — приветливо и даже как будто удивленно спросил он, пожимая Яхонту руку.

— Да, нам передал ее дед Юли. Он приходил вчера к Маше.

Яхонт с трудом, но все же подробно пересказал вчерашние события в Машиной квартире.

— Вы знаете этого человека? - спросил он.

— Я нашел его. Я же выполнял ваше поручение - разыскать Юлю. А для того, чтобы найти ее, следовало найти ее деда, которого она, судя по всему, любила и считала своим единственным близким человеком. Когда ей было тринадцать, она ушла жить к нему, сведя к минимуму общение с родителями. Я подружился с ним. Насколько это возможно. Молодые тела и души влюбляются в другие тела и души, а нам, старикам, остаются абстрактные формы любви: любовь к Родине, любовь к истине... Геннадий Яковлевич хотя и безумен, но он любит Россию, и эта любовь не заражена безумием. А я вот позволяю себе любить истину... Старомодная роскошь.

— В чем же состоит истина? Вы нашли Юлю? — спросил Яков.

— Истина состоит в том, что Юля Волховцева обожала группу «Тату». Да, я нашел ее.

— Где... Где она?

— Она жива-здорова. Скоро вы ее увидите.

— Где же она пропадала? Что с ней случилось?

— Я оказался прав. Это был курортный роман. Однополый. Она встретила девушку на Казантипе, влюбилась. Вдвоем они решили сбежать, скрыться от всех и вся... Совсем как в клипе «Тату» «Нас не догонят...» Это была ее любимая песня. На Казантип она взяла с собой CD-плеер с одним-единственным диском — группа «Тату». Она оставила этот плеер на своей кровати, с играющей в наушниках песенкой «Нас не догонят». Это была ее прощальная записка друзьям. Никто не обратил внимания на эту простую записку.

Подружки долго блуждали по диким местам Крыма, жили в горах. Наверное, Юля была счастлива. Но, к сожалению, ее возлюбленная бросила

ее. Юле не повезло, с ней поступили жестоко. В шестнадцать лет такое пережить нелегко. Да и не только в шестнадцать. Юле показалось, что сердце ее разбито навсегда. Она не могла даже думать о возвращении в Москву, в прежнюю жизнь. Решила укрыться от людей. Жила уединенно, в гарах, в доме одной женщины. Тем не менее она два раза позвонила своему деду. Оба раза она его не застала, записала два сообщения на автоответчик. Я слышал эти сообщения. Первое сообщение записано еще в тот период, когда она была счастлива со своей подругой. Записалась только одна фраза, вымолвленная сквозь удивленный смех (видно, ее отвлекали ласками или шутками): «...Я пью апельсиновый сок». Следующее сообщение записано уже после предательства и бегства возлюбленной. Юля равнодушным, мертвым голосом произносит: «Меня нет. Я исчезла. Я — Пентагон». Что еще могла сказать шестнадцатилетняя девушка в такой ситуации?

Пятиконечная звезда — символ женщины. В лесбийском жаргоне «звездой» называют девушку, которую любят, в которую влюблены. В этом же лесбийском жаргоне слово «Пентагон» употребляется как обозначение девушки, которую бросила возлюбленная. Пентагон — домик звезды, ее скворечник, ее собачья конура... Пустой Пентагон — такой, как в архитектуре Военного департамента США, — это домик, из которого любовь убежала, — звездой ли, птицей ли, собакой... Я занимался знаками. Пентагон это не только внешняя рамка, но и сердцевина пятиконечной звезды. Юля восприняла Пентагон в свое сердце. Теперь она сможет стать звездой.

Две сказанные ею на автоответчик фразы породили целый шквал бреда в сознании ее деда. Заинтересовались этими фразами и супруги Волховцевы, которые пытались разыскать дочь с помощью ФСБ.

Юля своих родителей не любила, предпочитала дедушку. Дети и подростки любят нас, стариков, больше чем взрослых, наверное, потому, что в нас еще сохраняется чистосердечие и наивность прежних времен. Взрослые заняты делами, они озабочены карьерой, интригами, престижем. Покупкой новых вещей взамен прежних, устаревших. А старики и подростки живут тем временем бурной жизнью. Старики то почтено сидят перед телевизором с газетой, то вдруг бомжуют, носятся по церквям, по вокзалам, их посещают видения, им часто нечего есть, они сходят с ума, бродят, убегают из дурдомов. Так, во всяком случае, живет Геннадий Яковлевич Плетнев. Он, конечно, никакой не академик и не ученый. В юности был красавцем, покорителем женских сердец. Работал в провинциальном цирке, слыл мастером на все руки, был и гимнастом, и фокусником, и клоуном. Потом упал с трапеции, ему пришлось оставить цирк. Стал детским поэтом, публиковал книжки стихов сначала про циркачей, потом все больше про раду, про речку. Но потом Советский Союз исчез, детские издательства, кормившие Плетнева, позакрывались. Кровавые черепашки-ниндзя, убивающие током покемоны и загадочные телепузики вытеснили аграрные стихи по запах весны, про мяч в синей воде, про раду, дождик и щенят. А тут еще резкие политические и экономические изменения в стране и мире. В общем, Геннадий Яковлевич слегка тронулся умом от всего этого. Написал книгу о знаках для детей, под названием «От "А" до "Z", или от "?" до "Рис. 2"». Книгу никто публиковать не пожелал, а Геннадий Яковлевич первый раз ненадолго прилег в дурдом. Пенсию ему платили ничтожную, ему светила бы нищета, но муж дочери Волховцев взял его к себе в лабораторию — то ли вахтером, то ли полы подметать. Там Геннадий Яковлевич проработал несколько лет. Вообще-то

в секретных научных учреждениях не терпят случайных людей, но Волховцев был молодой гений, его уважали, поэтому сквозь пальцы смотрели на его родственника. А следовало бы взглянуть пристальнее — Геннадий Яковлевич все глубже сходил с ума. Атмосфера закрытого научного института оказалась губительна для него. Его осенило, что он — академик РАН, крупный ученый, работает на оборону. Гениальные научные открытия стали вспыхивать в его мозгу. Сознание его странно преломляло обрывки той информации, которой полнился тайный институт. Не знаю уж, чем там занимался и занимается Волховцев, — о таком лучше не знать. Боюсь, это различные способы Абсолютно Необратимых Исчезновений.

Любовный бред девочки проник в сознание старика через два голосовых сообщения на его автоответчике, и этот любовный бред мгновенно стал в его мозгу бредом научно-военно-политическим. Плетнев — шизофреник, а без шизофрении не было бы научно-технического прогресса.

Вчера он устроил вам небольшое шоу — там было все: и познавательная лекция, и демонстрация чудес. Не берусь объяснить, что за чудо произошло с бабушкой, говорящей голосом Юли. Плетнев в молодости был циркачом, мастером различных трюков: возможно, он владеет гипнозом или чревовещанием. Может быть, идеально имитирует чужие голоса. Он всегда развлекал Юлю различными трюками и фокусами, которые приводили ее в восторг. Возможно, с собой у него был магнитофон с записью Юлиного голоса. Фактом является только то, что бабушка Маши произнесла Юлиным голосом те самые две фразы, которые Юля записала на автоответчик старика. И, судя по вашему описанию, с теми же самыми интонациями, как на автоответчике. Не знаю, транслировал ли Плетнев эти фразы в сознание старухи

телепатически, посредством гипноза, или же сам произнес их, воспользовавшись ее обмороком. Такие сумасшедшие бывают невероятно изобретательны. Да, Геннадий Яковлевич — безумец, но он любит свою страну сильнее, чем многие умники. Я уже говорил вам, старики любят Родину, ведь тело их ветшает и готовится слиться с телом страны. Пускай, думают старики, хотя бы это великое общее тело будет здоровым, могучим и вечным.

Если же и это великое тело Родины начинает вдруг ветшать и распадаться, если оно, что еще страшнее, на глазах превращается во что-то неузнаваемое, поддельное — тогда горе старику! Но пока что мы с вами все еще с наслаждением смотрим в лицо России. Вот оно, это лицо, — Курский указал перед собой рукой в большой варежке.

Они стояли в конце платформы, в том месте, где видно было, как сходятся в точку железнодорожные пути. Рельсы уходили в пространство, в воздухе разливался нежный серый свет, осторожный и тихий, и в этом свете зажигались и гасли цветные сигнальные огни и долетали далекие гудки поездов, их отдаленные стоны... туманные восклицания. Мелкий снег сыпался с неба.

Они смотрели в это невидимое лицо, и оба думали одно: Россия раскинулась вокруг них гигантским Пентагоном — она стала Пентагоном в лесбийском смысле этого слова: пустым домом звезды, откуда звезда убежала. И словно девичий шепот России доносился до них, растерянно и зачарованно лепеча знакомые слова: «Я выпила заколдованный апельсиновый сок. И теперь меня нет. Я исчезла. Я — Пентагон».

— Скоро зима, — сказал Курский и похлопал рукавицами. Только сейчас Яша заметил, что Курский как-то необычно тепло одет, совершенно по-



Яша сразу увидел Юлю.

зимнему. На фоне людей на перроне в осенних куртках Курский выглядел странно: в белом полушубке, в белом ватном комбинезоне, в белых высоких валенках и белых рукавицах. Пушистый белый капюшон, отороченный белым мехом, был надвинут на его голову, и острое, худое личико Курского выглядывало из этого меха, как старый птенец из белого гнезда. Полушубок был расстегнут, под ним виднелся белый лыжный свитер крупной вязки, на груди поверх свитера висел на витом шнурке большой медальон — мандала иньян, сделанная из какого-то необычного материала: то ли металл, то ли кость.

— Странный наряд? — спросил Курский, поймав взгляд Яхонта. — Сегодня улетаю на Крайний Север. Туда зовет очередное дело. Стал вдруг востребован на старости лет. Ох-хо-хо. Надеюсь, выгляжу как настоящий полярник. Да-с. Поручение ваше я выполнил, Юлю нашел. Это оказалось не просто — она хорошо спряталась. Невинного человека найти всегда гораздо сложнее, чем преступника: чистота не оставляет следов. На эти поиски у меня ушло немало времени. Это была нудная кропотливая работа, о таком не напишешь детективный рассказ. Но я нашел ее. А вот и поезд.

Из пелены снега на них медленно и осторожно выдвигался тихий длинный поезд.

— Она в пятом вагоне. Прощайте.

Яков не успел поблагодарить следователя. Побежал по платформе вдоль поезда. Поезд остановился, пятый вагон оказался прямо перед Яшей. Он был ярко освещен внутри. Яша сразу увидел Юлю. В пустом купе она читала книгу. Вот она медленно закрыла книгу и взглянула на Яшу сквозь стекло окна. Лицо ее было загорелым, усталым.

СВАСТИКА



Давно замечено: для детективного жанра огромное значение имеет образ расследующего, разгадчика тайн, а для этого образа главное не столько метод разгадывания (он, так или иначе, один - дедуктивный), сколько времяпрепровождение в паузах между делами — печаль и наркомания Холмса и целая коллекция его досугов, включающая игру на скрипке, химические опыты и депрессию, философское оцепенение Дюпена, унылое существование среднего парижского буржуа Мегрэ с его кальвадосом, женой, трубкой и дождем, католическое служение отца Брауна, завитые усы и мелкое тщеславие Эркюля Пуаро, и прочее, прочее, прочее — все эти формы анабиоза, от которых их способна пробудить лишь очередная загадка.

Сергей Сергеевич Курский, уже старичок, очень известный когда-то следователь, удалился на отдых в теплый Крым, ссылаясь на пенсионный возраст и на странный озноб, иногда бьющий его худое аккуратное тело, и теперь он жил возле моря, сначала в санатории МВД, а потом в собственном домике с садиком под Алупкой.

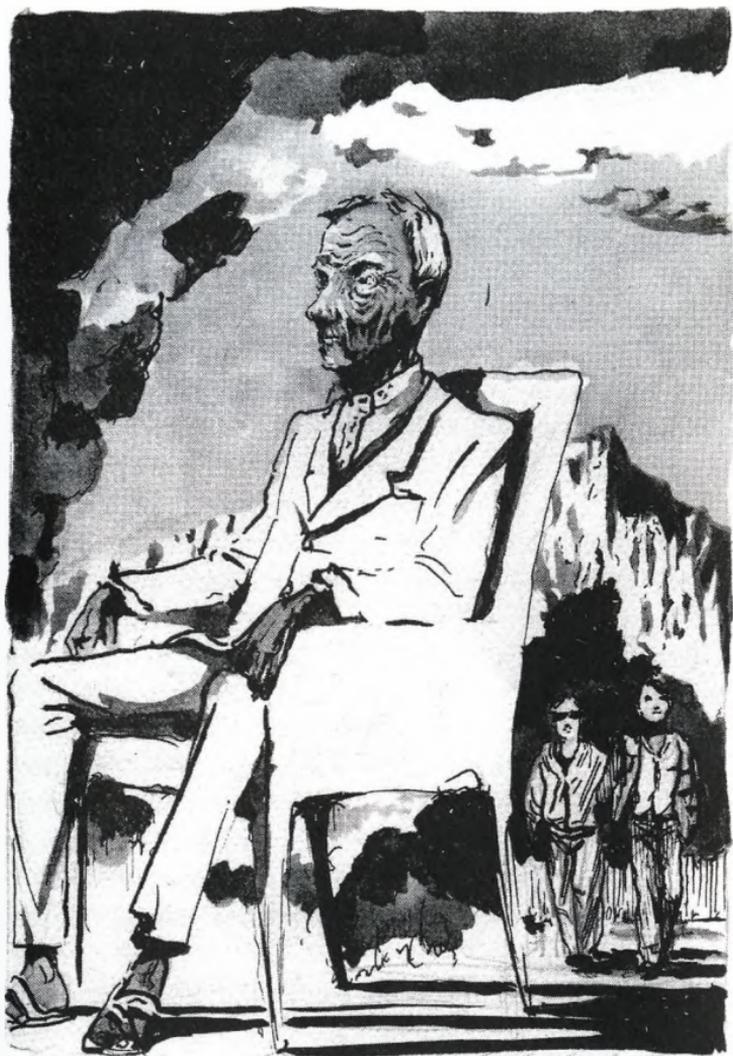
На рассвете он ходил на море, делал глубокий заплыв и зарядку, затем покупал на рынке фрукты (питался исключительно фруктами и овсянкой), а после неподвижно сидел в саду, хрупкий и весь белый: в седилах, белой рубашке, белых парусиновых брюках.

В саду, под навесом, был у него письменный стол, на нем - ноутбук, и предполагалось, что Сергей Сергеич пишет книгу о своих прошлых приключениях, но старые, узкие, опрятные пальцы так ни разу и не прикоснулись к клавишам с тех пор, как удалился он на покой, компьютер-чемоданчик ни разу не открывался, Сергей Сергеич не блуждал в Интернете, не писал воспоминаний, не читал и не писал писем.

Анабиоз его был глубже и прозрачнее, чем у Холмса, Мегрэ и Дюпена, он даже не счел нужным впасть в маразм, ум его оставался идеально отлаженной машинкой, созданной из столь прочных материалов, что она не ветшала и не ржавела даже от полного бездействия. Он просто как-то сладко и счастливо окоченел в этом теплом и нежном Крыму.

Когда к нему пришли молодые сотрудники ялтинского угрозыска Гущенко и Лыков, они нашли Курского в саду: он сидел, упершись лбом в угол своего старинного письменного стола, стол был весь пуст, и только на углу стояла бутылка минеральной воды и стакан, а также кристально чистая хрустальная пепельница — он никогда не курил. Услышав хруст шагов по гравию дорожки, старик выпрямился, в центре его белого лба отпечатались розовая точка — вмятинка от острого угла стола. Пришедшие с почтением взглянули на эту кастовую точку брамина, на этот розовый третий глаз. Лицо старика в своей верхней части казалось скованным зимой, и смотрел он как сквозь толстый лед, но в нижней части лица наступала ввиду гостей приветливая странная весна, и вежливая улыбка, как мартовский ручеек, струилась над острым подбородком.

Гости присели, их угостили минеральной водой. Гущенко и Лыков были молодые, талантливые парни с претензией, с татуировками, с запро-



Анабиоз его был глубже и прозрачнее,
чем у Холмса, Мегрэ и Дюпена...

сами. Несмотря на жесткую работу они много читали, слушали модную музыку и давно мечтали познакомиться с Курским: он был для них полуживой легендой, как бы двойным осколком: во-первых, осколком славного советского уголовного розыска; перед этим прошлым они благоговели. С другой стороны, они — простые ребята из постсоветской глубинки — обожали русское дворянство, а про Курского всем было известно, что он княжеского рода и, говорили, является потомком того самого Курбского, который когда-то состоял в знаменитой переписке с Иваном Грозным.

Итак, Гущенко и Лыков давно подбирали какое-нибудь необычное дело, которое могло бы заинтересовать Курского. Им хотелось поработать со знаменитостью, они все не могли забыть сверкающие перлы шестидесятых годов — «Дело рыбзавода», «Дело Чугунина», «Дело ювелиров»...

И вот попало одно дельце — необычное, загадочное, — явно стоящее особняком среди бандитско-ментовских будней наших дней, словно явившееся из других времен, — что-то здесь было от древних тайн, а может быть, от тайн будущего.

Лыков положил на стол папку, открыл, стал рассказывать:

— За Симеизом есть местечко Тополиное — красивый уголок у моря. Поселок возник в начале XX века, когда несколько богатых семейств из Москвы и Петербурга выстроили там свои виллы. В советское время было построено три санатория. Виллы отчасти стали санаторскими корпусами, другие же были поделены на квартиры, в которых жили работники санаториев. Вы, Сергей Сергеевич, конечно, знаете Симеиз и тамошние виллы с романтическими именами «Мечта», «Ксения», «Камея», «Эльвира», «Дива». Нечто подобное и в Тополином, хотя и скромнее. Есть там одна необычная вилла, построенная в 1901 году архитекто-

ром Семеновым для одного семейства, которая когда-то носила название «Свастика». Сами понимаете, было это задолго до фашизма, и в те годы свастика не ассоциировалась с чем-то злым и предосудительным. Скорее, наоборот, считалось, что это индийский знак счастья. Свастику любили Романовы. Вилла принадлежала Тягуновым. Тягунов слыл знатоком Индии, мистиком, богачом. Дом двухэтажный, в плане представляет собой две свастики: первый этаж — правосторонняя, второй — левосторонняя. Сейчас внешние стены виллы настолько покрыты пристройками и балкончиками, что всего этого не угадать.

Лыков показал фотографию виллы. Она была красиво расположена на фоне гор, кипарисов, но настолько покрылась пристройками, что не только ничего свастичного в ней не осталось, но и вообще нельзя было сказать, что это вилла, — просто дом, обросший самыми разнообразными верандами, разномастными мансардами и сараями.

— В этом доме стали странно умирать люди. Лобнев Степан Анатольевич, старик, был найден год назад в прихожей своей квартиры. Старику немудрено умереть, но экспертиза установила: смерть в результате отравления. Некий сложный яд. Ну, Лобнев выпивал, был в маразме, мог случайно употребить что-то не то, какую-то химическую жидкость. Пять месяцев назад скончалась Руденко Антонина Яковлевна, тоже весьма в летах, достаточно уже ветхая женщина. Казалось бы, Бог прибрал, но экспертиза настораживает — смерть в результате отравления, яд весьма схож с тем, который обнаружен в теле Лобнева. И, наконец, вчера третья смерть — Рогач Василий Васильевич. Тоже старик, тоже жилец этого дома. Найден на лестнице. И снова тот же яд. Тело Лобнева сфотографировано не было, а вот Руденко и Рогача мы сфотокали. Взгляните.

Гущенко подвинул Курскому пачку фотоснимков. На одном снимке старая женщина лежала на полу своей комнаты, одну ногу она подвернула под себя, другая полусогнута. Одна рука заброшена за голову, другая откинута в сторону, обе согнуты в локтях.

— Обратите внимание: позы трупов совершенно совпадают. Те, кто видел мертвого Лобнева, свидетельствуют: лежал на полу в прихожей в той же позе. Один в один.

— Возможно, схожая конвульсия в результате воздействия данного яда? — спросил Курский, перебирая фотографии.

— Видимо, так. Очень может быть.

— Что же, вы полагаете, кто-то травит стариков? Что можно сказать о яде? Нельзя ли найти техническую причину: утечка газа, другие бытовые яды?

— Яд странный, сложный. Техническая инспекция дома осуществлена, ничего не обнаружено.

— Сколько в доме квартир?

— Шестнадцать. Восемь на первом и восемь на втором.

— Много старых людей живет?

— Очень многие сильно в возрасте.

— Ну, здесь пахнет жилищным криминалом. Возможно, кто-то хочет завладеть квартирами или домом?

— Вряд ли. Дом на балансе санатория «Правда». Дело, кажется, не столь прозрачно. Вот еще снимки трупов. Вот это было обнаружено на телах Руденко и Рогача. У Руденко — на спине, чуть ниже затылка, а у Рогача — на щиколотке.

Гущенко показал два снимка. На фрагментах кожи обоих трупов виднелись странные красноватые переплетающиеся линии, образованные чем-то вроде вздутий на коже. Нечто вроде ожогов, но странной формы. Странный узор, нанесенный на тело как будто с помощью раскаленной иглы.

Курский внимательно рассматривал оба снимка.

— Занятно, - наконец сказал он. - Я хотел бы взглянуть на труп Рогача.

— Взглянете, Сергей Сергеевич, — обрадованно кивнул Гущенко, внутренне ликуя оттого, что старик втягивается. — Тело в морге. А не хотите ли прямо сейчас в Ялту, в морг, а потом съездим в Тополиное? Чудный уголок.

— Какие версии разрабатываются следствием?

— Пока эскизы, Сергей Сергеич. Наметки. Какие у нас версии — так, возня с фактами! А вот у жильцов дома в Тополином есть версии. Народ, как говорится, шушукается, кудахчет. Шепот пошел уже по всему поселку. Говорят, что дом нечист, конечно. И на разные лады в этом шепоте и шушуканье повторяют одно слово. Словечко.

— Какое же?

— «Свастика», Сергей Сергеич. Дом-то раньше, до революции так назывался, об этом помнят. Экзотичный дом. Свастика там везде, хоть и сбили лепные фронтоны, мозаики под окнами, но осталась мозаичная плитка на лестницах, остались мелкие орнаменты. Сколько ее ни уничтожали, а везде — она. Как паучок, живет то в одном углу, то в другом. И вот здесь что обращает на себя внимание: позы трех трупов — то, что вы назвали сходной конвульсией в результате воздействия яда, — они выглядят так искусственно, странно и очень похоже, что словно кто-то уложил их так, чтобы тело максимально напоминало свастику. Трупы, насколько это позволяет форма человеческого тела, лежат в форме свастики.

— Вот как, — Курский мельком еще раз взглянул на фотографии трупов. — Трепетно у вас выходит.

— Очень трепетно, Сергей Сергеич, — кивнул Гущенко. — И вот ведь фактик: все трое убиенных — фронтовики. Все прошли войну, имеют награды. Все они воевали с фашистами, то есть

получается, боролись против тех, чьим знаком была свастика. В общем, народ говорит: свастика мстит своим врагам.

— Много чего гутарят, — подключился Лыков. — Говорят, дом построил колдун Тягунов, и посвящен он знаку Сатаны. Уже многие требуют сжечь этот дом. А он, между прочим, входит в список исторических зданий, охраняемых государством.

— И если ко всему этому отнестись серьезно, то имеем мы на руках, Сергей Сергеевич, две версии — обе пустые, ничем не подкрепленные. Но... отвернуться от них или зажмуриться не умеем. Одна версия: неофашистская группа работает, причем, скорее всего, не столько политическая, сколько мистическая секта. Сатанисты не исключены. Или мистические фашисты. А другая версия: действует одинокий поклонник свастики, мститель за нее. Трое убитых — фронтовики, а у женщины еще и фамилия — Руденко. Она однофамилица прокурора Руденко, который был главным советским обвинителем фашистов на Нюрнбергском процессе. Случайное совпадение, скорее всего. А вдруг это совпадение возбудило мозг маньяка?

— Кудрявая история, — усмехнулся Курский. — Что же вы от меня-то хотите, от старика? Ищите.

— Хотим, чтобы вы приняли участие в расследовании. Просим вас о помощи, Сергей Сергеевич. Мнится нам, искать убийцу надо в доме. Среди его жильцов. Там есть разные персонажи, очень разные... И все они десятилетиями варятся внутри этой свастики. Многие — старики, многие — со странностями. Вы в свое время специализировались на убийствах с психопатологическими мотивами. Хотим, чтобы вы с нами прокатились в Тополиное, взглянули на дом, на его обитателей, что называется, свежим взглядом.

— Да уж какая тут свежесть! Стар я, ребята. У вас что выходит: стариков убивают. Вам кажется, их убивают другие старики. Или старик. Поэтому вы решили: пускай еще один старик и расследует. Старичье само с собой разберется. Остроумные у вас люди в ялтинском угрозыске работают. С юмором подходите к делу, с огоньком. — Курский обратил саркастическое лицо в сторону нежного моря, которое прозрачно и тихо просвечивало между весенними деревьями его маленького сада.

— Нам не до юмора, — угрюмо сказал Лыков. — Нам совсем не до смеха, Сергей Сергеич. Чутье говорит: убийства в доме будут продолжаться.

— Да и потом, почему только старики? — вмешался Гуценко. — Живет в доме одна молодая женщина. И, надо сказать, очень красивая. Лида Григорьева, двадцать пять лет, учительница в санаторской школе, при детском пульмонологическом санатории. Приехала из Севастополя четыре года назад, получила в этом доме квартиру. И она у нас ходит чуть ли не в подозреваемых.

— И чем же она подозрительна, эта красавица Лида?

— Очень подозрительна, очень. Приехала четыре года назад в Тополиное из Севастополя, откуда она родом, устроилась учительницей в санаторской школе для больных детей, поселилась в этом доме. Причем с самого начала проявила упорное желание жить именно в этом доме. Ей предлагали квартиру гораздо лучше, новую, с видом на море, а она предпочла поселиться на бывшей вилле «Свастика», на первом этаже, в скверной квартире без ремонта, с окном, выходящим на стену сарая. Зачем ей вообще надо было покидать прекрасный и веселый город Севастополь и селиться в Тополином, когда она молода и ослепительно хороша собой? Кроме этого, она еще очень умна, превосходно образована. Теперь она уже и не

скрывает, что цель ее переезда был сам этот дом — жить она хотела, видите ли, именно в нем. Не то чтобы она была фашистка, но она любит свастику. Достаточно войти в ее комнату, чтобы в этом убедиться. Комната от пола до потолка увешана этими знаками. Утверждает, что это знак буддизма. Кроме этого, она пытается производить своего рода подпольную реставрацию дома. Она собственноручно восстановила несколько изразцовых и мозаичных орнаментов внутри виллы. В доме ее за это многие не любят, всюю подозревают в ведьмовстве и в отравлении троих стариков и, живи там публика погорячее, давно бы уже предали ее суду Линча. А так — дело пока ограничивается кляузами. Зато ее обожают подростки из школы, где она преподает. Мальчики и девочки лет пятнадцати—шестнадцати постоянно ошиваются в ее квартире, слушают ее лекции о Востоке, пьют зеленый чай из китайских чашек. Все они в нее влюблены. Среди них есть и откровенно трудные подростки, с опасными наклонностями. Бывают изредка и скины, и панки. На некоторых детях была замечена свастика — то сережка, то кулончик, то пряжка на девичьем пояске, то татуировка... И на работе у нее уже проблемы из-за этого, хотя и слывет она превосходным преподавателем. Видимо, недолго осталось ей там работать. Впрочем, директор санатория, кажется, тоже пал жертвой ее красоты — поэтому пока что она держится. Все эти влюбленные в нее люди — особенно, конечно, подростки — могли совершить эти убийства. Давайте прокатимся в Тополиное по весеннему ветерку, там как раз пух летит, красота. Посмотрите дом, познакомьтесь с Лидой Григорьевой, поговорите с жильцами, с подростками. Будем вам от всей души благодарны, Сергей Сергеевич.

— На тополиный пух у меня аллергия. И вообще... Все это, друзья мои, лепота, но всего лишь,

боюсь, узоры, к делу отношения не имеющие. Извините, в Тополино с вами не поеду — незачем. Общаться с красавицами и подростками, гулять по виллам — все это мило, но возраст не тот. Да и к делу это все отношения, боюсь, не имеет. Вы ребята молодые, романтичные, устали от грубых разборок с ОПГ. Хочется вам изысканной, европейской тайны. Я вас понимаю. Так и быть, прокачусь с вами в Ялту, в морг, посмотрю на труп Рогача. Среди всех этих узоров меня одно интересует: что это за яд и как он попал в тела троих стариков. Хочется перемолвиться словом с судебным экспертом, с патологоанатомом. Вот и эти фотографии так называемых ожогов вы, пожалуй, оставьте. В этом есть что-то интересное. А позы трупов совсем не свастичные — чистейший домысел. Поэтому остальные фотографии заберите.

Курский отодвинул от себя папку с фотографиями трупов и виллы, оставил только два снимка со странными красными линиями на коже жертв.

— Это мне что-то напоминает. Где-то я нечто подобное видел или слышал о таком. Надо вспомнить, — сказал он, глядя на «ожоги».

Лыков и Гущенко переглянулись несколько разочарованно. Но, с другой стороны, старик Курский все же втягивался, поэтому они не стали унывать и быстро отвезли его на своей машине в Ялту, в морг, где Курский осмотрел труп, поговорил с патологоанатомом и вернулся к себе домой.

Прошла спокойная неделя. Курский не слишком задумывался об этом деле — собственно, он ни о чем не задумывался. Тем не менее фотографии двух «плетенок» (так он мысленно называл лабиринтообразные переплетения линий на коже трупов) он повесил на стену, на веранде, приколов их канцелярскими кнопками, затем на глаза ему попались несколько ватманских приятных листов

и цветные карандаши. От нечего делать он начал перерисовывать «плетенки» на ватмане. Занятие это было непростое, но удивительно спокойное.

По-прежнему он каждое утро ходил на море, долго смотрел на пену прибоя, на пенные орнаменты, сплетающиеся и расплетающиеся, и ему казалось, что почти неуловимый и подвижный узор, состоящий из многих водоворотов, кружений, спиралей, чем-то напоминает хаотическое переплетение линий, обнаруженное на телах Руденко и Рогача.

Затем, несмотря на то что море было холодным, он входил в воду и плыл, и в эти моменты ему казалось, что его старое тело становится детским, легким как пух и ничего еще не знающим о скуке и ужасе жизни.

В мозгу его, освобожденном от забот властью его ничем не обремененной старости, возникали простые сказочные слова, например: «У самого синего моря», — и, повторяя до бесконечности эти слова, он бывал счастлив.

В одно такое утро, выйдя из воды, он увидел на берегу модную спортивную фигуру Лыкова, который услужливо протягивал ему полотенце.

— Ну что, как жизнь-то? — равнодушно спросил Курский, растираясь.

— Жизнь ничего, а вот новая смерть в Тополином, — сказал Лыков. — Сулейменова Зульфия Ибрагимовна найдена мертвой четыре часа назад в доме «Свастика». Старуха во время Великой Отечественной войны была радисткой. Найдена на лестничной площадке между двумя этажами.

— Она там?

— Да, не трогали. Хотели, чтобы вы осмотрели все на месте. Поза традиционная, как и у предыдущих жертв. Едем?

Курский кивнул, и они сели в автомобиль. Он бы, наверное, не поехал, но после холодного моря

ему становилось так бодро и свежо, что появлялась тень бывшего азарта.

Тополиное действительно окутано было белым пухом, словно снег вился в воздухе, ложился на сияющее море, летел, падал, воспарял.

Они подъехали к дому, который Курский уже видел на фотографиях. От каменной арки поднималась к дому узкая лестница, возле арки стояла машина «скорой помощи» и две милицейские. К ним уже бежал Гущенко. Его молодое загорелое лицо искажено было возбужденной радостью — он казался счастливым, и все из-за того, что приехал «князь» (так они с Лыковым прозвали Курского).

«Князь втянется. Не сможет не втянуться», — убежденно говорил Гущенко товарищу. И, как видно, оказался прав.

Князю почтительно помогли выйти из машины, с почетом повели вверх по каменной лестнице, поддерживая с двух сторон, хотя он в этом вовсе не нуждался, к подъезду, охраняемому двумя стройными тополями, в прозрачной тени которых маячило несколько фигур в милицейской форме. А «князь» уже жалел, что приехал. У него действительно была аллергия на тополиный пух, и когда он склонился над телом мертвой Сулейменовой, глаза его столь обильно источали слезы, что, казалось, он горько оплакивает эту незнакомую ему женщину.

Старуха была очень толстой, смуглой, она грузно лежала на спине, распластавшись на красивом мозаичном полу лестничной площадки между двумя этажами дома. Ее восточное, темное, сильно оплывшее лицо не выражало ни страха, ни боли. Но что-то оно все же выражало, и это нечто напоминало, пожалуй, брезгливость. Одна ее толстая рука была согнута в локте и заброшена за голову, другая тоже согнута и опущена вниз. Ноги

были согнуты в коленях, словно она бежала. В общем, поза с некоторой натяжкой могла быть признана свастичной. Она лежала в центре большого круга, выложенного цветной плиткой, а по краю круга тянулся орнамент-меандр, состоящий из перетекающих друг в друга свастик. В общем, сцена выглядела достаточно геральдично — чистоту композиции нарушала только валяющаяся неподалеку от тела хозяйственная сумка с вытекающей из нее белой лужей молока. Видно, в сумке разбилась молочная бутылка. На белой, как бы лакированной поверхности молочной лужи уже лежал тонкий слой тополиного пуха. Слева от площадки к ней поднималась лестница с первого этажа, справа — та же лестница уходила на второй этаж. Между этими лестницами над мозаичной площадкой возвышалась огромная стена, уходящая вверх. Здесь стояло множество каких-то старых стендов, ящиков, ветхих шкафов — всякого хлама из квартир, который выбросить люди жалели, но и не желали хранить в своих комнатах. Над всем этим хламом, наверху, под самым потолком, сияло овальное окошко с наполовину синим стеклом. От него пятно синего света падало на лицо мертвой, и это азиатское лицо, облитое синим светом, казалось особенно важным и величавым, как иногда бывает у мертвецов, и опять же выражение гадливости присутствовало в этом величии — Сулейменова выглядела как гордая императрица, на чье царское платье внезапно упало с неба неведомое испражнение.

Курский присел возле тела, внимательно его разглядывая. Толстые пальцы и уголки рта старухи словно окаменели, сведенные особенной судорогой — так бывает у отравленных. Он приподнял черную кофту и на смуглом большом животе старухи обнаружил то, что ожидал обнаружить, — знакомое переплетение красноватых линий.



В общем, сцена выглядела достаточно геральдично...

Всмотревшись в это переплетение, Курский даже тихо присвистнул от удивления.

— Сфотографируйте, — распорядился он, указывая на этот лабиринтообразный след. Затем он встал и отошел в сторону поговорить с врачом, одновременно вытирая слезы чистым, тщательно выглаженным платком.

Перед домом уже скопились кое-какие любопытные, жильцы квартир толпились на ступеньках лестницы, шушукаясь. Курский, разговаривая с врачом, стал вытирать платком пальцы — он случайно испачкал руку в молоке, разлитом на полу.

Внезапно некая старушка, похожая лицом на маленькую сморщенную луну, схватила его за рукав.

— Белый, белый! — лепетала она, странно яснея безумными глазками. — Белый старичок пришел. У многих кровь на руках, а у белого — молоко! Правда-то она белая, как молоко, всю кровь наружу вынесет. Белый старичок, охрани от чертова креста! Ох, пришел Антихрист с антикрестом антикрестить антисвятую Антирусь ядом и кровию и сукровицей-попрыгуньей. Попрыгунья — синеглазая змея-стрекоза! Ужалит, так и навзничь. Белый старичок, вырви жало синеглазой змейке-попрыгушке. Колдушке-тягушке. У змеи-то паук в услужении. Паучина-простофиля. Убей паука, белый старичок. Молоком и слезами умой нас, белый старичок.

Лунная старушка вовсю кликушествовала, вцепившись, словно клещ, своей ветхой лапкой в рукав Курского. Тот с трудом вырвал руку — лапка оказалась сильной, цепкой, словно была железная.

— Кто эта юродивая? — спросил Курский у Гущенко.

— Живет здесь. Фамилия — Парчова.

— Безумна?

— Не совсем. Говорят, очень хитра.

Они отошли втроем подальше от толпы жильцов, зевак и машин. Гущенко и Лыков закурили.

— «Синеглазая змея» — это она о Лиде Григорьевой, — произнес Лыков. — Сейчас обрушится на красотку народный гнев. Сегодняшнее убийство — последняя капля. Да и наши подозрения против Лиды, увы, должны только возрасти. Сулейменова слыха злейшей врагиней учительницы Лиды. Добрая половина кляуз, посланных в поселковый совет, подписана ее именем. Так что мотивы отравить ее у учительницы имелись. А не у нее, так у кого-нибудь из ее обожателей — она сердца косит, как траву. У самой-то у нее алиби про нынешнюю ночь — была в Севастополе. Я ей звонил на мобильный — вот-вот подъедет. Подождем. Познакомим вас, она, по-любому, человек интересный. Шепчут уже, что она из рода Тягуновых, бывших хозяев дома.

— Вот вам бы и выяснить это, — сказал Курский. — Пошukaйте: кто она, из какой Вселенной. А я удивляюсь, что на главный вопрос никто даже не пытается ответить: что есть причина смерти этих людей. Говорите, яд. И врач, и патологоанатом все заодно — отравление, яд. Я и сам вижу, что яд. Но что за яд — здесь сразу заминка, и все смотрят на пол или в потолок. Или начинают говорить вдруг о мистике, о свастиках, о прочей ерунде. А о том, как яд попал в тело, ни слова. У вас уже штамп готов — убийство. А убийство ли это?

— Да, версию о техническом отравлении исключать нельзя, — хмуро согласился Гуценко (видно было, что такая версия его не радует).

— Вот именно, — подхватил Курский, сморкаясь. — Может, здесь по ошибке ядом лестницы моют, или паркет циклюют чем-то не тем, чем надо, или насекомых морят слишком рьяно.

— Ну вы, Сергей Сергеевич, прямо материал. Чувствуется советская закалка, — любезно усмехнулся Лыков. — Но в наше-то время мистику в чулан не спрячешь. Ведьмовство — это реально.

У нас проходили такие дела. И Лида Григорьева, возможно, ведьма в своем роде. Колдушка-тягушка. А вот и она.

К дому подъехала серебристая «хонда». Из нее вышли женщина и мужчина и подошли к ним.

— Познакомьтесь, это легенда МУРа советских времен — Сергей Сергеевич Курский, — представил Лыков Курского с мальчишеским блеском в глазах. — Интересуется нашими трупами.

— Лида, — молодая женщина протянула Курскому руку.

— Трупы покамест еще не наши, — хмуро пошутил мужчина и тоже представился: — Полковник Иоффе Олег Борисович. О вас наслышан.

Он был загорелый, лет шестидесяти, с аккуратными сединами, в очках в золотой оправе. Лида, как и предупреждали, оказалась красавицей. На секунду она остановила свои синие глаза на старом лице Курского. Затем они вошли в дом. Полковник Иоффе сказал что-то, обращаясь к жильцам дома, и они стали медленно расходиться по своим квартирам. Санитары вынесли на носилках накрытое тело Сулейменовой, погрузили в медицинскую машину и уехали. Все рассасывалось. Курский с ребятами сели в автомобиль Лыкова и двинулись в сторону Ялты. Когда машина взбиралась вверх, в гору, Курский оглянулся: над Тополиным, над сияющим морем стояли прозрачные и медленно вращающиеся столбы пуха. Ветер смещал их, и они плыли, сплетаясь, образуя большое, плавное, трепещущее в лучах завихрение, огромный пуховорот. Курский зажмурился: ему почудилось, что все это подвешенное и парящее царствие складывается в сонную, колоссальную, летаргическую свастику. Мгновение — и отрог горы скрыл эту картину.

— Кто такой этот полковник Иоффе?

— Директор санатория «Правда». Полковник советского КГБ в прошлом. Здесь он царь и бог. Считается очень хозяйственным, дельным, уважаемым человеком. Его любят в Тополином, а сам он вдруг влюбился в эту Лиду. Седина в голову, бес в ребро.

— Разузнайте о Лиде поподробнее, — сухо сказал Курский.

— А, так вам она понравилась? — обрадовался Лыков.

— Нет, мне больше понравилась Парчова, — вежливо улыбнувшись, ответил Курский.

Несмотря на эту приятную шутку, на следующее утро Лида Григорьева встретила Курского на лестнице дома «Свастика». Он спускался со второго этажа, свежий, заплаканный, как всегда в белом, прячущий в карман увеличительное стекло.

— А я теперь ваш сосед, — весело сказал он. — На некоторое время. Я только что снял у Шнуровых милую комнату с верандой, на недельку.

— Я рада, — просто сказала Лида. — Вы мне понравились. Вам у нас будет хорошо.

— Не сомневаюсь. Такой необычный дом, и люди интересные. К тому же у меня аллергия на тополиный пух — я плачу, как ребенок. Я так давно не проливал слез. Забытые ощущения. Решил наплакаться всласть.

— Не хотите ли зайти ко мне на чашку зеленого чая? Пока будете пить чай, я подберу что-нибудь против вашей аллергии.

— Подберете?

— Да, я изготавливаю различные микстуры на травах. Лечу немного, изучаю китайскую и тибетскую медицину. Знаю, что это обстоятельство укрепит вас в подозрениях, что это я отравила четырех стариков, но меня это не волнует. Я их не убивала.

— Ну что ж, спасибо, принимаю ваше приглашение.

Они зашли в небольшую квартиру Лиды. Здесь было полутемно. Единственное окно выходило в стену сарая, оплетенную зелеными листьями плюща. Ни стульев, ни диванов, ни даже кровати здесь не было. Пол был на восточный манер застелен жесткими пестрыми ковриками, лежали узкие длинные шелковые подушки, расшитые драконами, фениксами и, конечно, свастиками. Свастики здесь действительно присутствовали повсюду, от них буквально рябило в глазах: всех цветов радуги, вышитые золотым шитьем, гравированные на стали, вязанные на спицах, отпечатанные на папиросной бумаге, нарисованные на чашках, шторках, крошечных ширмах, на изящных бумажных фонариках, источающих по углам этой волшебной каморки свой розовый, зеленый, радужный свет.

— Какую чашку вы предпочитаете? — спросила Лида, показывая Курскому две чашки.

Одна — небольшая зеленая пиала, на которой свастики, сложенные из веточек коралла, были вписаны в глаза морского змея. Другая чашка — простая белая фронтовая кружка немецкого солдата времен Третьего рейха, из толстого фаянса, с маленьким черным орлом и маленькой свастичкой под ним.

— Давайте фронтовую. Она проще, — сказал Курский.

Ему налили зеленого чаю из китайского чайника, подвинули к нему блюдце с овсяным печеньем.

— Странно, что печенье всего лишь навсего круглое, — сказал Курский.

— Иногда я пеку счастливые печенья.

— У вас здесь возникает ощущение, что фашисты победили. Но, в остальном, уютно.

— Фашисты здесь совершенно не при чем. Знак не отвечает за тех, кто им пользуется.

Лида присела на корточки возле маленького инкрустированного шкафчика, стала выдвигать ящики, перебирая в них что-то. Наконец извлекла темный пузырек с узкой пробкой, наполненный черной жидкостью. На пробке виднелся ярлык с тремя иероглифами.

— Добавляйте по капле в стакан чистой воды утром и вечером. Ваша аллергия пройдет. Если не боитесь принять снадобье от отравительницы стариков.

Курский взял бутылочку, спрятал в карман.

— Не беспокойтесь, Лида. Это пройдет экспертизу, прежде чем я выпью хоть каплю.

— Значит, не доверяете?

— Я всех люблю и никому не доверяю.

— Вы мудрец?

— Нет, я человек наивный. Потрепанный жизнью, но не насытившийся ею.

— Хорошо, что так, а то вы выглядите таким отрешенным.

— Вообще-то я отрешился от дел своих, но меня втянули в ваш свастичный водоворот. Свастика, она ведь для этого и существует, если я правильно понимаю, для того чтобы цеплять, затягивать...

— Есть две свастики: сеющая и собирающая, дающая и берущая.

— В этом доме в последнее время умерли от яда четыре человека. Вы имеете какое-либо отношение к этим смертям?

— Нет, никакого. Неожиданно вы начинаете допрос.

Она села напротив него в позе лотоса. На ней была китайская рубашка из черного шелка со стоячим воротничком и такие же шелковые штаны. На тонкой смуглой щиколотке - серебряный браслет. Более никаких украшений.

— Разрешите теперь мне спросить вас: чего вы ожидаете от этого дела?

— Я ожидаю разочарования, — ответил Курский. — Приятного разочарования. Пик моей карьеры пришелся на шестидесятые годы прошлого века. Тогда был в моде так называемый спор между «физиками» и «лириками». Предполагалось, видимо, что в процессе этого спора те и другие должны слиться в экстазе и обмениваться свойствами: «физики» должны стать «лириками», и наоборот. Ну, я-то был «физиком». Наверное, им и остался. Поэтому я склонен думать, что люди эти умерли не по чьему-либо злему умыслу, а потому, что в этом доме плохо наклеены обои или какая-то бытовая химия каким-то образом капает с потолка. В общем, признаться, мне хочется охладить горячие мистические головы. А вы что думаете об этих смертях?

— Это старый дом. У него своя душа. Вы, может быть, совершенно правы — бытовая химия и прочие случайности. Но я в случайности не верю. Какая разница, каким именно образом дом убил их? Этот дом может спасти тело и душу человека, если полюбит его. Так он поступил со мной. Но он может и убить человека, которому здесь не место. Я ни о чем не тревожусь, этот дом защищает меня. И вы не тревожьтесь, вы понравились дому. Оставайтесь здесь навсегда.

— Почему вы думаете, что я ему понравился?

— Чувствую. Вы нравитесь мне, и это дом внушает мне симпатию к вам. Живите здесь — и проживете еще лет сорок.

— Кажется, мне предлагают взятку в форме долголетия. Верный способ коррумпировать старика. Но у меня приятный домик под Алупкой, ему я тоже очень нравлюсь, и он обещает мне пятьдесят.

— Как хотите.

Где-то в углу комнаты зазвонил мобильный Лиды, затерянный среди подушек. Она отошла от

гостя, откинулась на подушки и стала разговаривать с кем-то по телефону.

Курский тем временем поднялся с коврика и стал разглядывать картинки и фотографии, развешанные на стенах. Это было похоже на тематическую выставку, посвященную свастике. Впере­межку висели тантрические мандалы, фотографии индийских храмов, фашистские и антифашистские плакаты, перерисованные фрагменты меандров и других орнаментов. В рамках, под стеклом, висели русские ассигнации, выпущенные Временным правительством в 1917 году, где русский двуглавый орел без корон и атрибутов был изображен на фоне свастики. Но в особенности внимание Курского привлекли две крупные цветные фотографии, висевшие рядом и составлявшие, видимо, своего рода пару. Это были фотографии двух могил — цветные, увеличенные снимки, явно заимствованные из каких-то журналов или иллюстрированных изданий. Они занимали на стене почетное и заметное место. На одной фотографии было запечатлено буддийское надгробие, сфотографированное явно где-то в Индии или на Шри-Ланке — вертикально торчащая из земли каменная плита, закругленная сверху, с выбитыми на камне письменами и большой свастикой над текстом. На другой — оскверненная еврейская могила где-то в Восточной Германии, очень похожая плита, такой же формы и размера, тоже закругленная, с похожими письменами на камне и тоже со свастикой, но свастика нарисована сверху с помощью спрея. Станный, завораживающий эффект производился этими фотографиями. Парадоксальное сходство—различие этих двух могил, глубокая смысловая трещина, раскалывающая пополам эти два объекта, и различие в статусе знака свастики, нанесенного на поверхность этих плит с противоположными целями.

В первом случае с целью благословить, во втором — оскорбить.

— А, я вижу, вы разглядываете две мои любимые фотографии, — сказала Лида, возвращаясь из-за своей ширмы и раскачивая мобильный телефон на шнурке. — Я на них каждый день медитирую.

— Я потрясен, — сказал Курский.

— Да, я называю их «Скрижали». Два камня одинаковой формы, две каменные плиты, покрытые письменами. И обе помечены одним знаком, но... Когда я смотрю на эти могилы, мне кажется, что это я похоронена в них. Под одним из этих надгробий покоится мое благословенное тело, под другим — моя оскорбленная душа.

— Кто посмел оскорбить вашу душу?

Лида промолчала, глядя на изящные смуглые пальцы своей ноги.

— Ногти как экранчики, — сказала она, поймав взгляд Курского. — Я все жду, когда на них начнут показывать фильмы.

— Скоро покажут, — вежливо пообещал Курский.

В дверь постучали, и вошел парень лет девятнадцати с сережкой в ухе и татуировкой в виде буквы «С» на лбу.

— Это Цитрус, — представила парня Лида. — Он зашел за мной, чтобы проводить в школу. Извините, мне пора на работу.

Курский поднялся и протянул ей свою визитную карточку, на которой он написал номер своего мобильного телефона.

— Спасибо вам за чай, за лекарство и за беседу, — сказал он. — Разрешите последний вопрос: вы сказали, что чувствуете, кого этот дом любит, а кого нет. Скажите, он любит Парчову?

Лида впервые за весь разговор с изумлением и неподдельным интересом взглянула в глаза Курского. Затем она улыбнулась (опять же, впервые за всю беседу) и ответила:



«А, я вижу, вы разглядываете
две мои любимые фотографии...»

— Конечно, он очень, очень любит Парчову!

— Слава богу! Я этому очень, очень рад!

Курский сердечно пожал руки Лиды и Цитруса и вышел.

Курского действительно потрясли фотографии могил, точнее, одна из них — та, что изображала буддийское надгробие. Его потрясло, собственно, одно странное совпадение: он видел эту могилу. Когда-то очень давно, в самом начале шестидесятых годов, он был на Цейлоне в служебной командировке. Тогда эта страна только обрела независимость, и они ездили туда консультировать тамошнюю уголовную полицию. Ему запомнился проливной дождь, неожиданно обрушившийся на него в городе Галле — старом, некогда португальском, городке на самой южной оконечности острова. Сквозь отвесные струи этого тропического ливня, пахнущего цветами, дымом костров и болотной грязью, он вбежал в старый обшарпанный индийский храм. Потолок там был в больших дырах, и вода дождя лилась внутри храма, струилась по разбитым плитам полов. Среди водяных струй висел ароматный дым от курильниц, кое-где сидели неподвижные, но весело смеющиеся гостям старики, почти совершенно голые. Группа детей, тоже смеющихся и очень радостных, встретила его. Предводительствовала ими девочка лет девяти, одетая в красно-лиловые ткани, она поставила Курскому точку на лбу чем-то вроде ароматической красной сажки. Курский вежливо кланялся и фотографировал девочку, стариков и богов. Затем Курский прошел сквозь храм и оказался на берегу моря, где обнаружил прибрежное кладбище, прилегающее, кажется, уже к другому храму. Старые плиты поднимались прямо из песка, и рядом шумел океан. Курский долго гулял по этому кладбищу-пляжу, там он и сфотографировал могилу со

свастикой. Трещина пересекала эту плиту наискосок, по этой трещине он и узнал ее. Почти такая же фотография висела теперь перед ним на стене, но только цветная. Фотография, которую он сделал тогда, была черно-белая, с аппетитными тенями, с капельками дождя...

Курский вышел из квартиры Шнурова, где снимал комнату, прошел в конец коридора, в крайний закуток свастики, и постучал в обшарпанную дверь.

— Кто? — спросил из-за двери старушечий голос.

— Милиция, — ответил Курский.

Дверь открылась. Луноликая Парчова стояла перед ним.

— А, белый старичок! Заходи, гость дорогой. Гость — он что в горле кость. На погосте гости — ящики да кости. Ласковый гость лучше татарина, свадебный гость — слаще Гагарина. Гагачий пух стоит гостей двух.

Парчова мелко трясла головой, извергая свой словесный понос, и при этом цепко смотрела на Курского своими как бы остановившимися глазами.

— Меня зовут Сергей Сергеич, я теперь ваш сосед, временно. У Шнуровых живу, — сказал Курский входя.

Квартира оказалась узкая, вся иссеченная комнатухами, которые летом сдавались внаем отдыхающим. Летом здесь, наверное, становилось тесно и весело, всюду толпились загорелые тела, играли в карты, женщины снимали и надевали купальники, люди ели, трахались, орали на детей. Но сезон еще не наступил, до него было далеко, и здесь, среди множества кроватей, пока что одиноко обитала хозяйка, желающая казаться юродивой Парчова.

Правда, ничто в этой квартире не указывало на ее безумие. Напротив, по всему казалось, что

человечишко здесь живет аккуратный, практичный и прижимистый. Она провела Курского на чистенькую убогую кухню и заметалась по ней.

— Ох, сейчас угощу, угощу гостя дорогого. Блинков, грибков, да варений, да медку, да сладкого хлеба, да стерлядки на блядки. Ой, да нет ничаво!

Она всплеснула сухонькими ручками, как бы ничего не найдя, хотя не сделала даже попытки открыть буфет или холодильник. Затем, сложив длани на коленях, она удрученно уселась на табуретку и, уставясь в одну точку, забормотала:

— Ой, не ела ничего, три дня росинки-то во рту не таяло. Хоть шаром покати, хоть бы подал кто старухе корочку да денежку.

Курский вынул из бумажника ассигнацию в пятьдесят гривен с портретом розово-лилового бородача в овальных очках, и положил деньги на стол.

Парчова обрадовалась, молниеносно схватила деньги и снова забегала по кухне, делая вид, что готовит чай. На самом деле она просто быстро прикасалась кончиками пальцев то к чайнику, то к спичкам, то к чашкам, но не брала их в руки. Все оставалось на своих местах.

Наконец она снова уселась на свою табуретку, обхватила себя руками, раскачиваясь и приговаривая:

— Боль моя, болюшка...

— Вы приболели, Евдокия Анисимовна? — участливо спросил Курский.

— Со стенки упала, ребра умяла, — быстро ответила Парчова.

— По стенкам ходите? — Сергей Сергеевич заглянул в глаза Парчовой. Глаза показались неожиданно ясными, янтарно-ястребиными.

— Не хожу, а бегаю. По стенкам, по потолочку. Куда там ходить-то — свалишься. А если бегом да вприпрыжку — у пауков учусь. Паук-то он ведь —

хозяин. Паук Иваныч-то. — И она вдруг скороговоркой произнесла:

Пили чай у Федоры —
 Вышивальщицы тайных узоров.
 Говорит, что училась у паука,
 Который свешивается с потолка.

— Я вот что собираюсь вам сказать, — промолвил Курский. — В доме этом умерли четыре человека. И я очень боюсь, что вы можете стать пятой жертвой. Вам угрожает опасность.

Парчова вытаращилась и стала с поразительной скоростью креститься, приговаривая:

— Спасе, спаси! Спасе, спаси! Спасе, спаси! — так она повторила раз шестнадцать.

— Хватит вам юродствовать, Парчова, — прервал ее Курский. — Вы же превосходно все понимаете, и вам многое известно. Вы же видели, как умерла Сулейменова.

Парчова уставилась на него своими ястребиными глазами. На ее лице-луне внезапно словно разгладились все морщины, исчезли все кратеры.

— Ну, видела, — вдруг сказала она холодно и сварливо, без тени юродства. — И что с того?

— Значит, вы видели ЭТО?

— Видела, соколик. Умный ты уродился, больно умный, сокол ясный. А я-то видела. Многое на своем веку видела — аж глазоньки устали. Видела и Хозяина — как он метнулся, сердечный, от тела-то еще теплого. Паук-хозяин весь мир оплел. Все, что видела, — все мое. Вчера я тебе сказала, что у синеглазой змеи паук в услужении. Солгала я тебе, по злобе солгала. Это она, ведьмица, ему служит, перед ним на коленях упадет, мохнаты лапоньки его целует. И не одна она, и не один этот дом: паук весь мир оплел. Только я ему не раба и в услужение не пойду. Видела я его власть, видела... все,

что видела, все мое... А тебе, богатырь, лука да стрелы, да колчан, то зассанный топчан! Да сраный кочан!

Парчова вдруг разъярилась и затряслась мелкой дрожью.

— Сраный кочан тебе, старый парень! Уходи, милоч, белый голубок! Уходи, белый грибок! Проваливай!

Она вскочила и сухоньким сильным кулачком ударила его в плечо.

— Вот тебе мое благословение на битву с Пауком Ивановичем. Проваливай с Богом! — она недвусмысленно указала ему на дверь.

Курский зашел еще к нескольким жильцам, представился как новый сосед, болтал о том о сем, любезно и старомодно шутил, расспрашивал про историю дома. Наслушался легенд, сплетен и бытовых баек. А в промежутках между визитами обследовал дом, слонялся по коридорам, залезал в самые темные углы, простукивал, вынюхивал, пускал в ход увеличительное стекло... В общем, старая ищейка вышла из анабиоза и неслась по следу. Откуда только взялась прыть?

Когда он сидел в гостях в людном семействе Кушаковых, в кармане у него коротко пискнул и вздрогнул мобильный телефон, давая знать, что получен SMS. Курский достал телефон и прочитал сообщение: «Приходите сегодня в 21:00 в школу санатория. Будет небольшая лекция. Лида».

Поскольку до назначенного времени оставалось еще часа два, он решил прогуляться по Тополиному. Уже стемнело. Не успел он пройти немного по темной улице поселка, как почувствовал, что сквозь темноту к нему кто-то приближается. Быстрый сигаретный дымок предшествовал появлению человека. Затем явился огонек и силуэт мужчины. Это был Гущенко. Они присели за пласт-

массовый столик уличного кафе. Гущенко выглядел усталым в мертвенном свете этого кафе.

— Ну что, нашли в доме утечку бытового яда? — спросил он без улыбки, жадно затягиваясь своей сигаретой.

— Нет там никакого бытового яда, — сказал Курский.

— Так я и думал. А я был в Севастополе, говорил с тамошними ребятами, узнал много нового про учительницу. Она, возможно, очень опасна. Думаю, она причастна к убийствам. А если даже и нет, детишек учить ей явно не следует. Лида Григорьева — это ее ненастоящее имя. Ее зовут Полина Зайцева, ей двадцать пять лет, родилась в Севастополе. — Гущенко достал из портфеля папку, открыл. — Происходит из очень приличной семьи. Отец был капитаном военного корабля. Так что она — капитанская дочь. Мать — преподаватель консерватории. До пятнадцати лет красotka Полина гасилась на рейвах, но училась при этом очень хорошо. В пятнадцать лет она победила на севастопольском конкурсе красоты — на голову ей возложили хрустальную корону: эта корона, наверное, и свела ее с ума. Она связалась с одним местным бандитом, стала его любовницей, тот финансировал ее успехи. Вряд ли она любила его. Он был человек жестокий, но девочке, ясное дело, хотелось красивой жизни. Семья же находилась в упадке, Полинка подседа на героин. Бандита вскоре убили, взорвали вместе с «брабусом», шофером и телохранителем. С ним погибла одна девушка. Она находилась в тот момент в машине. Тоже семнадцатилетняя красавица — видимо, тоже любовница этого бандоса. Вот ее-то и звали Лида Григорьева. После смерти своего кровителя Полина Зайцева покатиалась, что называется, по наклонной: стала, грубо говоря, проституткой. А тут еще и отец ее — капитан Зайцев — покончил

с собой. Он был патриотом России. Не смог пережить развала Черноморского флота, присоединения Севастополя к Украине, а тут еще позор дочери... Да... В общем, как это ни прискорбно, дела типичные для тех недавних времен и для нашего полуострова. Но потом пошли темы не совсем типичные. В какой-то момент что-то с ней произошло - по типу, духовное перерождение. Может, кто-то встретился ей на жизненном пути, или, по ходу, видение... Она такая соскакивает с герондоса, завязывает с продажной любовью, вообще круто все меняет и берет себе имя той убитой тогда девушки — Лида Григорьева. И переселяется сюда, в Тополиное. Причем имя и фамилию она поменяла официально, в паспорте. Она подружилась с родителями убитой девушки, и эти Григорьевы удочерили ее. Вот такая вылезает история. Вот из такой вот распространенной Вселенной она и явилась к нам. Все эти сведения нам придется сообщить ее начальству — пусть сами решают, может ли женщина с такой биографией учить детей.

— Ну что ж, всего этого следовало ожидать, — произнес Курский, глядя на неоновую лампу.

— А вы что-нибудь нашли? Кого подозреваете?

— Полковника Иоффе Олега Борисовича, — ответил старик.

Гушенко изумленно уставился на Курского.

— Шутите?

— Шучу, — успокоительно ответил старый следователь. — Впрочем, в каждой шутке есть доля шутки. Мне тут сказали, что всех убивает Хозяин. А вы говорили, что Иоффе здесь и есть главный хозяин на местности.

— Олег Борисович очень честный и очень хороший человек. Помог реально многим, — убежденно сказал Гушенко.

— Но мне рассказали, что он не просто влюблен в Лиду, а влюблен несчастливо и до безумия.



Бандита вскоре убили, взорвали вместе с «брабусом»,
шофером и телохранителем.

В таком состоянии даже от очень хорошего человека можно всякого ожидать. Впрочем, неважно. Лида приглашала сегодня вечером на некую лекцию. Пойдете?

— Нет, с меня хватит на сегодня. Поеду домой спать.

Они обменялись рукопожатием. Гущенко уехал.

В назначенное время Курский вошел в тот корпус санатория «Правда», где размещалась санаторская школа. Особые запахи школы и санатория здесь слились: пахло одновременно хлоркой, старым линолеумом и деревом, мокрыми половыми тряпками и железными ведрами, кафелем, лекарствами, цветами и морем. Курский втянул в себя эти запахи не без удовольствия. Затем он прошел туда, куда указывала солидная, еще советских времен, табличка с золотыми буквами «Лекторий».

В небольшом зальчике было полным-полно людей: в основном подростки, но маячили и кое-какие взрослые. Виднелись даже несколько стариков и старух. Но подростки лет пятнадцати—шестнадцати составляли абсолютное большинство. Курский отметил про себя, что, хотя все они были пациентами санатория, вид у них был совсем не болезненный, скорее — цветущий. Загорелые девочки и мальчики, все очень модно и тщательно одетые, в красивых майках, свежих джинсах и мешковатых штанах с карманами, с аппетитными рюкзачками в руках, с затейливыми мобильниками в футляриках в форме плюшевых мишек и оранжевых кенгурят, в чистых кроссовках и козыньках, повязанных на головах по-пиратски, с куточками ароматной жвачки, перекатываемых молодыми ртами. В общем, цивилизная, симпатичная, ухоженная молодая поросль — совсем непохоже на сборище неонацистов или сектантов. Почти все они блестящими от мечтательной люб-

ви глазами смотрели на Лиду Григорьеву, которая стояла перед ними, перебирая слайды в узких коробках. Рядом с ней был установлен слайд-проектор, отбрасывающий светящийся прямоугольник на белый экран. Курский тихо сел в заднем ряду.

Лекция началась. Она называлась «История знака» и посвящалась, конечно же, свастике. Лида стала говорить, сопровождая свою речь демонстрацией слайдов. Она начала с раздела «Свастика в природе»: на экране замелькали фотографии водоворотов, звездных туманностей, спиралей ДНК, фотографии макушек, так называемых родничков, снимки младенческих пупков, водяных струек, ракушек, узоров на крыльях и панцирях некоторых насекомых.

Курского немного клонило в сон, день выдался интенсивный, давно уже не бывало у него таких дней; его клонило в сон, но сладко, как в убежавшем детстве, как будто клонило его не в сон, а в огромный бисквит. Источник этой сладости скрывался в голосе Лиды — Курский закрыл глаза, внимая, думая о том, как странно красота девушки отпечаталась в модуляциях ее голоса, в его приглушенной звонкости, как если бы звонил завернутый в бархат колокольчик, и в то же время иногда этот голос образовывал колодцы, глубокие и темные, наполненные потайными объемами холодной воды, которая проистекала из подземных источников, тайно соотнесенных со снежными вершинами гор и подземными реками. Золотая, подземная река — так можно было бы назвать этот голос, учитывая, конечно же, то обстоятельство, что река эта не была целиком и полностью подземной: местами она выходила на поверхность, ниспадала по уступам горными ручьями, сверкающими в лучах, — или это он дремал. Сон его тоже не был целиком и полностью сном, временами сновидец выныривал из сонных течений и тогда

слышал фрагменты лекции, видел различные образы на слайдах: расшитые рушники, кружева, вдохновленные изморозью, литовские прялки, поставцы, расшитые бисером рубашки, шкатулки — это Лида перешла к разделу «Свастика в народной культуре».

— ...Разнообразные свастики и сходные с ними фигуры назывались в Мещере «огнивцами», — звучал ее голос. — В Печорском районе Архангельской области, ныне республика Коми, свастику называют «заяц», во множественном числе «заяцы», например: «полотенце заяцами». Старейший мастер хохломской росписи Степан Павлович Веселов из деревни Мокушино Нижегородской области часто изображал на древних тарелках ромб и свастику в центре, называя ее «рыжик» и поясняя, что это «ветер травки колеблет, шевелит...». О свастичных ромбах народные мастера говорили, что они «с пальцами». В некоторых деревнях Рязанщины свастику называют «ковылем». В рязанской Мещере свастичный орнамент именуют «конями», «коневыми голяшками», то есть конскими головами. Слитая в ромбовидный замкнутый меандр кайма называется «коситница». По подсчетам омского автора Январского, насчитывается сто сорок четыре русских названия свастики, в том числе «посолонь», «коловрат», «святодар», «цветок папоротника», «святоч» и другие. В некоторых местах ее называют «комонь», что на древнерусском языке значило «конь». Народные мастера-орнаментаторы называют свастику «кружащееся солнышко», «бегущее солнце»...

Сидящие вокруг Курского подростки с удивлением посматривали на старика — он то спал, то плакал, и поэтому непонятно было, то ли лекция ему скучна, то ли она, напротив, потрясает его до рыданий. На самом деле лекция казалась ему действительно скучной, и он, в свою очередь, удив-

лялся интересу, с каким слушали ее подростки. Плакал же он от тополиного пуха. Впрочем, впору было подумать, что каждая пушинка, причиняющая ему страдания, это крошечная белая нежнейшая свастика, проворно и лукаво щекочущая его слизистые оболочки. Но Курский не склонен был к навязчивым идеям, и свастика его не интересовала. Впрочем, она все же проникала в его сны, соскакивая в них со светящегося экрана. Так ему вдруг приснился какой-то зимний сон: множество снежных комьев, как живые, теснилось вокруг маленькой озябшей свастики. Проснувшись, он не понял, многое ли из лекции упустил.

— В Америке в двадцатые годы существовал «Клуб девушек», *Girl's club*, — спокойно рассказывала Лида. — Этот достаточно фешенебельный клуб выпускал еженедельник «Свастика». Если девушка успешно справлялась со своими обязанностями по клубу, она награждалась подвеской в виде алмазной свастики. Девиз клуба гласил: «*Every girl wants to have her own swastika*» — «Каждая девушка хочет иметь собственную свастику».

На экране возникли улыбающиеся девушки в красивых платьях, с алмазными свастичными подвесками. Затем появилась фотография девушки, которую Курский сразу же узнал: она была на этой фотографии еще очень молода и одета в этническое платье с кожаной бахромой, с большой белой свастикой на груди.

— Вы видите Жаклин Бувье, будущую Жаклин Кеннеди, будущую Жаклин Онассис. На ней индейское платье со свастикой, — донесся из полутьмы голос Лиды.

На экране появился снимок большого массивного здания, почти небоскреба, с огромной свастикой наверху.

— В 1926 году возведен отель «Свастика» в Ратоне, штат Нью-Мехико, с соответствующим знаком

на крыше. Хотя символика была навеяна орнаментами местных индейцев, в период войны отель переименован в Yucca Hotel, свастика устранена.

Затем на экране замелькали какие-то старые электроприборы, помеченные свастикой.

— Использование свастики как знака, обозначающего электричество, было достаточно распространено, — говорила Лида. — Шведская фирма ASEA, занимавшаяся изготовлением электроприборов, имела на своем логотипе свастику. Вы видите этот логотип. Свастика до сих пор употребляется на некоторых картах для обозначения электростанций.

Мелькнули карты с рассыпанными по ним мелкими свастичными значками.

— А теперь вы видите рекламную подвеску для ключей, выпущенную фирмой Coca-Cola в начале двадцатых годов. Брелок, как вы имеете возможность убедиться, имеет форму металлической свастики с надписью «Coca-Cola»...

Стариком Курским опять овладела дрема, а когда он вновь открыл глаза, Лида демонстрировала аудитории фотографию, на которой последний русский царь Николай Романов сидел на лошади, а перед ним в открытом автомобиле сидела его жена — императрица Александра Федоровна. Автомобиль был новенький, только что подаренный царем жене, и на носу автомобиля отчетливо была видна свастика в металлическом кружке.

Лида рассказывала о том, что царь и царица считали свастику своим личным знаком. Уже в Екатеринбурге, в плену у большевиков, в ожидании расстрела царица вырезала ножом десятки свастик на стенах, оконных рамах и деревянных подоконниках Ипатьевского дома. Возможно, она беспомощно пыталась превратить этот дом в Зимний дворец, где свастика встречается столь часто, что кажется снежинкой той Вечной Зимы, эпи-

центром коей, видимо, и предназначен быть Зимний дворец. Временное правительство, возглавляемое Керенским, напечатало свастику на ассигнациях достоинством в сто и двести рублей. Двуглавый орел, лишенный корон, державы и скипетра, получил взамен свастику.

— Коммунистическая власть, связавшая себя с пятиконечной звездой, поначалу тоже не вполне отказывалась от идеи использования свастики. Сохранился приказ войскам Юго-Восточного фронта 1918 года за номером 213, где вводится новый нарукавный шеврон для бойцов Красной Армии: ромб красного сукна, в верхнем углу ромба — пятиконечная звезда, в центре — венок, а внутри венка - ЛЮНГТН с подписью Р.С.Ф.С.Р. Загадочной аббревиатурой ЛЮНГТН в приказе обозначена свастика. Вы видите эскиз шеврона на слайде. Происхождение аббревиатуры ЛЮНГТН мне неизвестно. Кроме как в этом приказе войскам, мне нигде не удалось обнаружить эту аббревиатуру.

Вскоре после того свастика стала эмблемой фашистов, и это поставило крест на положительном использовании этого знака в СССР. Тем не менее антифашисты, в Германии, в Советском Союзе и во всем мире, изображали свастику столь же часто, как и фашисты. Мы постоянно видим свастику на картинах и рисунках Георга Гросса, Отто Дикса, Джона Хартунга и других немецких художников-коммунистов, на плакатах и карикатурах Кукрыниксов, Дени, Бориса Ефимова. В довоенный, военный и послевоенный период свастика стала знаком зла, и в этом своем качестве получила беспрецедентную популярность и гарантию тотального массового использования. Каждый ребенок в России и бывшем СССР, родившийся после 1937 года, знает что такое свастика, и умеет ее рисовать с весьма раннего возраста: особенно это касается мальчиков. Сотни тысяч

детских рисунков изображают войну, где самолеты, танки и солдаты одной стороны помечены пятиконечными звездами, а силы другой стороны — силы зла — свастиками. В это же время появляется разбитая и поврежденная или перечеркнутая свастика — знак борьбы с фашизмом и победы над ним.

В XX веке свастика начала войну против двух звезд: шестиконечной звезды Давида и пятиконечной звезды. Евреи в тот период были безоружны, и поэтому звезда Давида не смогла выступить в качестве военного контрагента свастики, эта звезда стала ее жертвой. Что же касается пятиконечных звезд, то они контратаковали свастику с двух сторон: со стороны СССР и со стороны США, чьим знаком, прежде всего, военным, была белая пятиконечная звезда. Конфликт свастики и пятиконечной звезды, если попытаться понять его, исходя из графической логики самих знаков, определяется тем обстоятельством, что оба этих знака являются модификацией креста. И свастика, и пятиконечная звезда представляют собой крест в движении. Пятиконечная звезда — знак человеческого тела, наиболее антропоморфный знак из всей «первой линии» знаков, куда входят крест, пятиконечная звезда, звезда Давида, свастика, полумесяц и знак Инь-Ян, он же — мандала 69.

Таким образом, пентакль — это крест, перемещаемый человеком. Свастика — это крест, катящийся, движущийся сам по себе, крест, перемещаемый нечеловеческими силами, силами природы — ветром, солнцем, огнем, водой... Но, прежде всего, ветром. Каждый пропеллер с выгнутыми лопастями скрывает в себе свастику. Пентакль — это знак человеческой экспансии, свастика — знак встречного шторма, это вспышка на солнце, это природная катастрофа, это смерч, это ответ среды на человеческую активность по обустройству мира.

То, что свастика стала изгоем в мире знаков, во всяком случае, в западном мире, тот факт, что она стала символом «поверженного зла», Сатана низвергнутый, обозначает поражение природы под натиском человека. Если когда-нибудь животные, растения и стихии, вирусы и бактерии восстанут против власти человека, знаком этого восстания станет свастика. История этого знака сейчас входит в самую интригующую фазу: свастика пережила столь глубоко компрометирующую связь — связь с фашизмом, что след этого грехопадения не изгладится еще несколько столетий. Но знак сохранил свою невинность, он остается святым, и сейчас, более чем когда-либо, свастика становится знаком надежды.

Звезды зовут нас в космос, но свастика напоминает нам, что мы и так в космосе, что мы в эпицентре космического вихря. Раскручивающаяся свастика образует спираль, это алхимическое превращение знаков относится к глубинам жизни, к ее сокровеннейшим тайнам. Свастика и спираль — два знака, которые дают человечеству надежду на продолжение жизни на Земле, они говорят, что мы не обязаны быть заклятыми врагами всего того, что не является творением рук наших. Свастика сообщает нам, что мы и есть космос. Возможно, это знак грядущей Экологической Революции, знак Великого Освобождения, Великого Постижения, Великого Смирения. В будущем свастика уже не будет черной, она будет соткана из солнечных лучей, она станет всех цветов радуги, она будет сплетена из нежнейших ароматов, из благоуханий всех цветов. Об этом говорит нам священное учение Будды. И то, что в русском языке слова «Будда» и «будущее» звучат сходно, — это укрепляет нас, говорящих по-русски, в наших надеждах, в наших ожиданиях Радости и Покоя.

Лида закончила свою лекцию, зажегся свет. Подростки и взрослые встали и начали тесниться к выходу, многие толпились вокруг Лиды. Курский, осторожно сморкаясь, стал пробираться к выходу. Он уже почти вышел, но тут кто-то схватил его за локоть. Он оглянулся — это был Цитрус.:

— Лидия Анатольевна просила вас задержаться. Она хочет поговорить с вами, — сказал парень.

— Вам понравилась лекция? — спросила Лида, подходя. Ее сопровождали мальчик и девочка лет пятнадцати, явно близнецы.

— Я больше половины проспал, извините, — ответил Курский. — Вначале все было довольно энциклопедично, познавательное. Концовка идейно напыщенная, в духе проповеди, как в Америке. В целом, все очень интересно. Спасибо.

— Здесь в двух шагах есть приятное кафе «Грифон», мы там любим сидеть. Хотела пригласить вас выпить чаю со мной и моими друзьями, — Лида указала на близнецов.

Курский поклонился, соглашаясь. Он выспался на лекции и теперь чувствовал себя достаточно свежим.

«Грифон» действительно оказался приятным ресторанчиком с открытой террасой и сводчатыми внутренними помещениями. Они сели за столик возле большого телевизора, который излучал пение и пестроту музыкальных клипов. С ними были близнецы и Цитрус, который скоро ушел. Совершенно незаметно исчезли и близнецы. Курский и Лида остались вдвоем.

Лида заказала бокал белого вина, Курский — бутылочку минеральной воды и овсянку.

— Вы, наверное, очень устали? — спросил Курский.

— Нет, не устала. У меня много сил, и я научилась равномерно распределять свою энергию и никогда не уставать.

— Вы - йог? - Курский отпил воды.

— Можно и так сказать.

— Значит, разговор вас не измучает. Я хотел спросить вас: вы специально хотите укрепить меня в подозрениях против вас? У меня создается впечатление, что все, что вы говорите, должно укрепить меня в мысли, что вы причастны к этим смертям. Вся эта длинная лекция была мною услышана как одна фраза: это я убила четырех стариков.

— Странно. Я их не убивала. И лекция была совсем про другое.

— Я знаю, что их убили не вы. Но, может быть, вы хотите принять вину на себя, чтобы выгородить какого-то дорогого вам человека? Вашего близкого друга?

— У меня нет близких друзей. Есть один любовник, но он тоже никого не убивал.

— Любовник? Простите за нескромность, речь идет о полковнике Иоффе?

— Какая глупость. Вы совсем ничего не сообщаете. Мой любовник — Цитрус, и об этом знают все.

— Извините.

Лида рассмеялась. Видимо, предположение, что Иоффе ее любовник, развеселило ее. Лицо ее после лекции все же было усталым, но теперь, под влиянием вина и свежего ветра с моря, глаза ее заблестели, на щеках появился румянец. Она закурила тонкую женскую сигарету.

— Вы верите во все, что говорили, — про радужную свастику из цветочных ароматов и прочее? — спросил Курский, размешивая овсянку.

— Конечно. Неужели вы думаете, что я вру детям? Я и вообще стараюсь не врать, а уж детям говорю всегда только то, что думаю. Не все же так циничны, как старые следователи из советского угрозыска.

— Да, полковники советского КГБ гораздо романтичнее, — парировал Курский.

— Полковник Иоффе — очень хороший и очень честный человек, — произнесла Лида, и Курский подивился, что она дословно повторила недавнюю фразу Гущенко. — В молодости он был разведчиком. Действительно, он, наверное, романтик, ну и хватит о нем.

— Я тоже вот желаю быть романтиком. Сидя на вашей лекции, между снами и слайдами, я написал стихотворение, посвященное вам. Вот оно, — Курский протянул Лиде сложенный листок бумаги. Она развернула — стишок был написан отчетливым бисерным почерком:

Как лик, искаженный болезненной спастикой,
Насупился мир наш, помеченный свастикой.

На ватмане белом, сквозь крошки от ластика
Серела, как дым, полустертая свастика.

Ее поговорки, походка и пластика,
На тоненькой шейке алмазная свастика.

Постель с отпечатком любовной гимнастики —
Две простыни белых свились в форме свастики.

В кино, словно отсвет смешного ужастика,
В глазах у детей отразилась свастика.

Как девочки русские — Машеньки, Настеньки —
В лугах закружились цветущие свастики.

Волчата, оскальте голодные пасти-ка!
На шкурках у вас появляется свастика.

Вот сон, что навеян научной фантастикой:
Два робота ржавых разложены свастикой.

Моя королева, проказница, ласточка,
Вражайся над морем, весенняя свасточка!

— Кажется, я перебрал все возможные рифмы к слову «свастика», — сказал Курский. — Если не считать маленькой нечестности в случае с волчатами. Но, возможно, я что-то упустил.

— Чудесное стихотворение! И вообще вы очень галантны. Вы — опытный кавалер. Вы что, были донжуаном? — Лида спрятала листик.

— Не то чтобы донжуаном, но я любил женщин, и они любили меня.

— А сейчас?

— А сейчас я старик.

— И не женаты?

— Женат никогда не был.

Лида усмехнулась:

— Значит, вы — старый холостяк?

— Именно.

— А что такое «спастика»?

— Непроизвольное сокращение лицевых мышц, как правило вызываемое болью или сильными эмоциями. Чаще всего говорят о «спастике голодания» и чаще всего имеются в виду резко сведенные или приподнятые брови, сморщенный лоб...

— Понятно. Я этого слова не знала. Я не знала, что есть слово, всего лишь одной буквой отличающееся от слова «свастика».

Они помолчали, глядя в телевизор, где в этот момент две чудесные девочки-лесбияночки целовали мокрые лица друг друга, а потом бежали куда-то в своих школьных униформах, под проливным дождем...

— Зачем вы уехали из Севастополя и поселились здесь? — наконец спросил Курский.

— Я родилась в Симеизе, что означает по-гречески «знак». С детства я любила знаки, присматривалась к ним. Сейчас бы я сказала: медитировала на них. Уже тогда я чувствовала в них огромную силу. Знаки — это ключи к колоссальным объемам

энергии. Можно пользоваться сразу всеми ключами, можно одним или двумя — кто как умеет. Я не выбирала свастику, это она выбрала меня. И, видимо, случилось это в тот момент, когда мои родители решили переехать из Симеиза в Севастополь. Мне было четыре года. Цифра 4 — это недорисованная свастика. Севастополь — единственный город на Земле, чье название — однокоренное со словом «свастика». Этот корень «севаст» или «сваст». Севастикана — так на древнеиндийском языке, на прасанскрите, называется свастика собирающая. В начале моей жизни мне дана была общая категория знака — знак как таковой. Потом судьба указала мне, что этот знак в моем случае — свастика. Указала поначалу через название города, в котором я выросла, где прошла моя юность. Севастополь был моим любимым городом, его я считала родным, в нем была счастлива. Тогда я не думала о свастике. Но потом свастика спасла меня в самый трудный и страшный момент моей жизни. Она неожиданно пришла ко мне на помощь. Я поняла, что мне отныне следует посвятить себя служению этому знаку, раз уж я родилась в Симеизе, а выросла в Севастополе. В тот момент ситуация моя складывалась так, что в Севастополе я оставаться больше не могла. И тогда мне рассказали, что между Симеизом и Севастополем есть местечко Тополиное, а в нем дом, имеющий форму свастики. Слово «тополь» является частью слова «Севастополь». Один влюбленный в меня мужчина часто говаривал мне: «Ты стройна, как тополь». Он был человек примитивный, и этот шаблон казался ему прекрасным. Два слова в этом названии «Тополиное» — «тополь» и «иное». Да, иное... К тому же, в названии «Тополиное» мне услышалось имя Полина. Так звали одну мою подругу, которую я очень любила. Она погибла, и я тогда очень тосковала по ней. Слово «тополиное»

я воспринимала как «То - Полина». Мне казалось, здесь я встречу ее снова.

— И что же, вам удалось встретить ее?

— Нет, но мне удалось ее забыть. Хотя она была такая красивая, что, казалось, забыть ее невозможно. Но я встретила другое живое существо — дом, в котором я теперь живу. Он ведь живой, я вам говорила. И он спасает меня от всех невзгод. Он защищает меня.

— Он даже убивает ваших врагов?

— Когда-то мне хотелось уехать навсегда в Америку и поселиться в Ратоне, штат Нью-Мехико, чтобы работать горничной в «Юкка-Отеле», который раньше назывался «Свастика». Или уехать в Индию. Но потом оказалось, что так далеко ехать необязательно.

Лида заказал еще вина и стала смотреть телевизор, куря сигарету.

— Эффект калачакры, — вдруг произнесла она.

— Что-что? — спросил Курский.

— Один мой знакомый, сведущий в буддийском учении, называет так те случаи, когда внешняя реальность откликается на ваши невысказанные мысли, немедленно отвечает на них. Вот и сейчас... телевизор ответил мне.

Курский мельком взглянул в телевизор, там показывали какой-то клип.

— О чем же вы думали?

— Если я скажу откровенно, то боюсь смутить или обидеть вас.

— Обещаю не обижаться, а смутить меня трудно.

— Я думала о том, способны ли вы к сексу в вашем возрасте. Затем подумала про «виагру» — препарат, который якобы возвращает старикам сексуальную энергию. И тут же появился этот клип группы «Виа Гра» — он как раз об этом. Видите, пожилой человек, немного похожий на Иоффе, сидит за столиком кафе. В это время некие ученые

в некоей лаборатории наблюдают за ним сквозь специальные приборы. В этой же лаборатории почему-то присутствуют три полуголые девицы, извивающиеся, гладкие, холеные, одетые в минимальный *sexu stuff* с заклепками, кожаными ремешками и прочим. Ученые уменьшают девиц, помещают их в маленький прозрачный шарик, заряжают этим шариком специальное научное ружье и затем стреляют шариком в ухо этому пожилому мужественному господину — назовем его «полковник в отставке». Полковнику становится странно, он больше не может есть, ему все страньше и страньше, девицы теперь поют и извиваются прямо у него в голове. Припев таков:

У-у-у, биология! Анатомия!
Изучи ее — до конца.

Они явно хотят, чтобы полковник изучил их анатомию, причем до конца, до самого золотого оргазма. Но затем поют:

...И хотелось бы,
Да нельзя.

Курский внимательнее взглянул в экран. Там происходило все то, что описала Лида. «Полковник в отставке» стал давиться, дергаться, в результате шарик с поющими девушками вывалился у него изо рта и упал на тарелку.

— Какой увлекательный клип, — сказал Курский. — Вы открываете мне глаза на творчество этой группы. Кроме того, на вас приятно действует белое вино. А я веду аскетическую жизнь в последнее время. Море заменяет мне секс. Так что даже не знаю, нужна ли мне виагра или нет. Я никаких лекарств не принимаю, соблюдаю здоровый образ жизни. Не потому, что хочу пожить подольше, а потому, что хочу умереть здоровым. Мне хочется отведать чистой смерти — чистой,

как минеральная вода, не замутненной ни болезнями, ни маразмом. Совершенно здоровый человек все равно умирает, достигая определенного возраста — в нем просто нечто заканчивается. Мне хотелось бы достичь этого «естественного конца». В свете этой задачи секс для меня не имеет никакого значения.

— Вы говорите как настоящий буддист, — произнесла Лида задумчиво. — Или это имитация? Восхищаюсь вашим аскетизмом, во мне тоже есть аскетическая жилка... Аскетическая разновидность сладострастия. Но Будда осудил аскезу, поэтому я не даю себе воли. Иначе давно бы уже сидела на Мангупе, в пещере... Если захотите вдруг отказаться от вашей программы, примите вот это.

Она быстро протянула руку и вложила нечто ему в ладонь. Курский взглянул. Это была маленькая белая таблетка, с выдавленной на ней свастикой, в прозрачном полиэтиленовом конвертике.

— Что это — «виагра» или яд?

— Ни то ни другое. Но может быть и тем и другим. Все зависит от вас.

Курский спрятал таблетку.

— Пройдет экспертизу? — спросила Лида.

Старик кивнул.

— А я вам хочу сделать одно предложение. Оно вас застанет врасплох. Четвертый бокал вина мне не повредит... Похолоднее. Итак, предложение. Вы не хотели бы жениться на мне?

Курский от удивления чуть не выронил ложку.

— Шутите, конечно? — спросил он весело.

— Нет, не шучу. Предложение абсолютно серьезное.

— Вы с ума сошли. Зачем вам? Вы что, влюбились в меня? — лицо его приняло саркастическое выражение.

— Нет, конечно. Вы же старик. Но вы понравились мне, а мне почти никто не нравится. Я долго

думала, почему вы так равнодушны к свастике. А потом поняла, потому что вы сами — свастика. Вы — знак. Подумайте над моим предложением.

Она встала, держа в руке бокал. В нем оставалось еще немного вина.

— Я подумаю. Это очень странное предложение. Я отвечу вам через три дня.

— Через четыре. Останемся в рамках свастики.

— Хорошо. Через четыре дня я тоже собираюсь прочесть небольшую лекцию — здесь, в доме «Свастика». Приглашайте всех желающих. После лекции я отвечу вам на ваше любезное предложение.

Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.

После спокойной ночи, с утра пораньше, Курский вошел в кабинет директора санатория «Правда». Он приветливо улыбался, протягивая руку. Иоффе с такой же приветливой улыбкой поднялся ему навстречу. Произошло рукопожатие.

— Сидайте, ласкаво просимо, — Иоффе, улыбаясь, указал на кресло. Курский сел.

Они заговорили о том о сем: о красоте Тополинского, об отношениях России и Украины, о состоянии санаториев в Крыму... За их приветливостью скрывалась старая вражда двух советских ведомств — КГБ и милиции. Эта вражда, хоть и не столь легендарная, как вражда абвера и гестапо, все же имела свою продолжительную историю, и хотя уже тринадцать лет как не стало СССР и оба уже не служили своим ведомствам, все же они до сих пор чувствовали себя представителями враждебных кланов или непримиримых семейств, что выражалось в их преувеличенной сердечности и в том, что улыбки все никак не могли сползти с их лиц. Иоффе принадлежал к более привилегированной советской касте и был здесь хозяином, но,

с другой стороны, подвиги его, если они были, остались скрыты тенью государственной тайны и никому не были известны. Курский же считался знаменитостью, звездой шестидесятых. Тогда о нем часто писали газеты, о его делах было написано несколько популярных некогда книжонок, и их полковник Иоффе когда-то с упоением читал.

Но книги о Курском забылись, и почти забылось уже могучее государство, которому когда-то служил Иоффе. Сияя друг на друга великолепными искусственными зубами, беседовали эти два обломка великой, быстро испарившейся эпохи.

Наконец, Иоффе, как принято было писать в советской литературе, посерьезнел.

— Не кажется ли вам, Сергей Сергеевич, что нашим странам снова угрожает надвигающийся фашизм? — спросил он.

— Кажется временами, — ответил Курский. — Но, говорят, это будет совсем другой фашизм — веселый, просветленный, миролюбивый, увенчанный радужной свастикой. И надвигается он не столько на наши с вами страны, сколько на весь мир, тем более что мир скоро утратит границы и станет един. Тогда-то и засияет над этим единым миром радужная свастика.

Курский улыбнулся, давая понять, что шутит. Но Иоффе не поддержал шутливого тона.

— Мне что радужные, что жемчужные... Фашизм он и есть фашизм. Конечно, я понимаю — глобализация и все прочее, но молодежь совсем с ума сошла. Играются с этой гадостью, как с игрушкой. А это не игрушка, это — наживка. И молодежь эту наживку глотает на наших глазах, а мы только умиляемся. И так вокруг столько всего: цинизм, наркотики, сектантство... Теряем мы нашу молодежь!

— Она уже не наша, — равнодушно ответил Курский.

— Да? Ну все равно жалко ребят. Они же, в сущности, дети, а их втягивают в грязные дела. У меня вот родителей и старших братьев и сестер — всех фашисты убили в Днепропетровске. Меня спасла одна украинская семья, потом рос в детдоме. Потом — курсант школы КГБ. Потом в разведке, работал за границей. Мир повидал. И что такое фашизм, швыдко понял.

— Я ваши чувства разделяю, Олег Борисович. У меня похожая судьба. Всех моих родных до единого человека репрессировали. До единого. Как говорится, за белое дело да за дебелое тело. За белую кость, золотую кровь. Да заодно за измену Родине, которую совершил в пятнадцатом веке наш далекий предок князь Курбский. Романовы простили старый грех нашей семье, а товарищ Сталин не простил. Поквитался за обиду царя Ивана. А меня, малыша, пощадили. Дети за отцов не отвечают. Воспитан в детском доме, потом — курсант школы МВД. Пошел работать в уголовный розыск следователем по особо тяжким... Изучал судебную психиатрию, написал учебное пособие по расследованию убийств, совершенных душевнобольными.

— Да, сходная судьба. Значит, вы меня хорошо понимаете. Меня очень беспокоит это дело с отравлением пенсионеров. Все они когда-то работали в нашем санатории... У вас уже сложилась какая-то версия?

— Похоже, сектанты, — тускло заметил Курский.

— И я так думаю! Наговаривают на Лиду Григорьеву, нашу учительницу, но она тут совершенно не при чем. Она интеллигентнейший человек, одна из немногих, для которых слово «просвещение» — не пустой звук. Но она в чем-то простодушна, наивна. Что вы хотите: девушка, двадцать пять лет. И вокруг нее вертятся разные люди, местами очень темные. Даже среди детей попадаются

крайне опасные, крайне странные. У нас тут детский санаторий, я тут работаю уже девять лет, на-смотрелся на самых разных детей. Бывают такие, что словно и не дети. Есть действительно секта, детская секта. Лида о ней ничего не знает, а я знаю. У меня своя агентура. Я все же разведчик.

— И что же это за секта? — заинтересовался Курский.

— Вы видели близнецов? — ответил вопросом на вопрос Иоффе.

— Близнецов? — не сразу понял Курский. — Да, мальчик и девочка... Светленькие такие. Видел вчера на лекции, мельком.

— Это Кристина и Роман Виноградовы. Им всего шестнадцать, с виду они просто ангелята — хорошенькие, спокойные. Но это видимость. Они очень непростые. Они болели туберкулезом в довольно тяжелой форме. Их прислали сюда первый раз два года тому назад. Мы подлечили их. С тех пор они ездят сюда часто, полюбили это место. Просто не вылезают отсюда. Видите ли, им рекомендовали доктора. Живут то в санатории, то в частном секторе. Здоровье их по-прежнему оставляет желать... И вообще-то этот тополиный пух — не для них. Но они хотят быть здесь — и все тут. Эти близнецы и создали тайную детскую секту, а может быть, революционное общество на манер декабристов. Тайное общество называется «Солнце и Ветер», оно включает в себя тех санаторских детей, что ездят сюда не первый год. То есть самых больных. Там у них человек двенадцать или шестнадцать, точно не знаю. Какие-то подростковые тайны, рассказывание детских сказок, легенд, хождение в горы, в особые места... Какие-то ритуалы у костров. Какие-то песни, обряды... Вся власть принадлежит близнецам. Они, естественно, и есть Солнце и Ветер. Остальные подчиняться должны беспрекословно. Тайна полная.

За разглашение — смерть. Так написано в уставе. Все члены общества подписали устав вымышленными именами. И, естественно, кровью. И прозвища или клички такие странные у членов этой секты — Нефть, Газ, Золото, Марганец, Никель, Фондовая Биржа, Индекс Доу-Джонса...

— Откуда же вы знаете? — поинтересовался Курский. — Неужели в этом обществе есть предатели?

— А это уже мои секреты, — ответил полковник Иоффе. — Но я вас уверяю: если Солнце и Ветер решили бы убивать пенсионеров, — исполнители бы нашлись. Есть, например, Виталик Пацуков, по кличке Цитрус, — из местных. Этот предан Солнцу и Ветру душой и телом. Фанатичный парень. Если близнецы завтра прикажут ему отравить всех пенсионеров поселка, — отравит.

— Какая-то война детей и стариков, — промолвил Курский.

— Что-то в этом роде. Но, извините, сейчас у меня дела. Рад буду продолжить общение позже. Не желаете ли поужинать сегодня вечером в «Грифоне»? Приятное место. Давайте в восемь.

— Спасибо, я приду. До восьми.

Курский вышел.

Он брел задумчиво по санаторскому парку. Сквозь стройные ряды кипарисов и тополей летел пух, его потоки оевали деревья, стенды и полуразрушенные фонтанчики, но старик уже не плакал — он начал привыкать к пуху. В целом, хорошая в этом году выдалась весна.

Он вдруг остановился.

— Война, — внезапно произнес он вслух. Это слово вдруг поразило его. Тайная война стариков и детей! Война людей с нечеловеческими существами. Война мужчин и женщин. Война сект. Война спецслужб. Война полов. Война видов. Война

времен. Война ночи и дня. Война миров. Война всех против всех.

За мирными деревьями парка, за летящим пухом, за ветхими плакатами, рекламирующими детское здоровье, за теньями и лавочками — за всем этим ленивым фасадом велась жестокая, тайная, беспощадная и бессмысленная война всех против всех, война, которую ВСЁ объявило самому себе.

Вдруг он увидел, что прямо перед ним, между двумя тополями, на фоне можжевелевого холма, громоздится огромное, белое, облупленное слово «ПРАВДА» — название санатория. «Эффект калачакры!» — подумал Курский. «Война — это правда. Правда — это война». Он вспомнил строки из поэмы Заболоцкого «Ладейников», которая когда-то нравилась ему:

Ладейников прислушался: над садом
Шел тихий шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшись Адам,
Свои дела вершила без затей:

Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из пичьей головы,
И ужасом истерзанные лица
Ночных существ смотрели из травы.

Он прожил всю свою жизнь в недрах этой войны, этого ада. Какие-то люди зачем-то убили его родителей. Другие люди зачем-то убили родителей Иоффе. Они сделали это исключительно ради войны, ради ее вечного продолжения. В течение жизни он видел сотни убитых, задушенных, отравленных. Им объявили войну, и он охотился на тех, кто убил их. Для чего? Ради справедливости? Нет, для того лишь, чтобы продолжалась война — между казаками и разбойниками, между преступниками и полицией. В старости он хотел выйти из войны, уединиться, дезертировать, уйти на покой. Он выдумал себе мирную, просветленную ста-

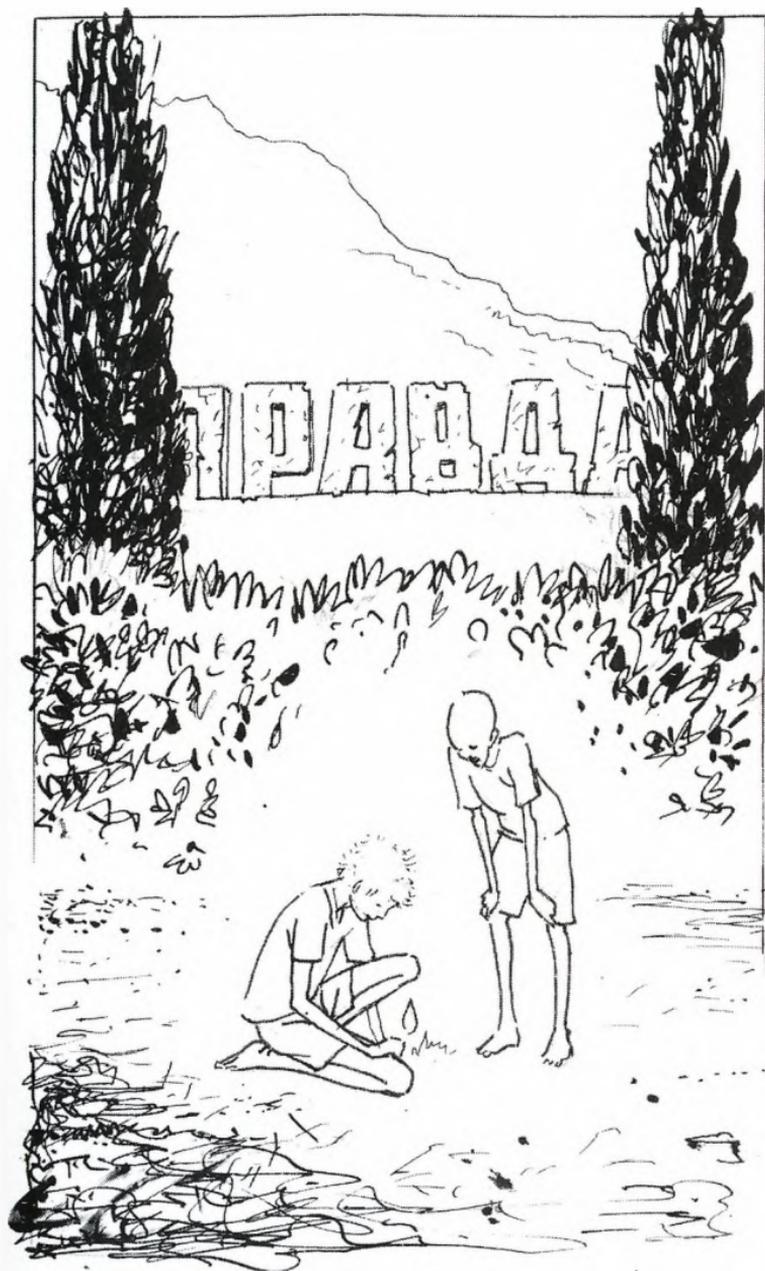
рость в прозрачном ожидании мирной смерти. Старость наедине с морем, минеральной водой и овсянкой. Но тут явилась свастика — это цепное колесо жизни, «крест с пальцами», как говорит народ, — и она стала затягивать его обратно — в войну, в жизнь. Он чувствовал, что свастика раскручивается, набирает обороты и происходит ее заявленное превращение в спираль, в воронку, в смерч, в торнадо.

Ему захотелось дойти до автостанции, сесть в такси и уехать к себе, в домик под Алупкой, и там забыть про свастику и красивых женщин, про трупы пенсионеров, про распадающиеся виллы, про полковников КГБ, про подростков и стариков...

Ему захотелось дезертировать.

И тут он увидел двух мальчиков лет семи, которые были поглощены игрой: они бродили, согнувшись, по асфальтовой площадке перед словом «ПРАВДА». Старый асфальт везде покрылся сложной сеткой трещин, кое-где вспучился, выпуская траву, кое-где разошелся, как ветхая кожа. Трещины то разбегались паутиной, то ветвились, как тени деревьев. Все эти трещины — глубокие и мелкие — наполнены были белым тополиным пухом. Мальчики держали в руках зажигалки, шелкали ими и поджигали пух — он быстро, с легким треском, возгорался, и огоньки бежали по ручейкам пуха, словно горящие сигналы проносились по сети, по микросхеме...

Была ли это война? Неужели эти мальчики вовели с пухом? Нет, они делали это не ради войны. Они занимались исследованием. Увлеченные глаза детей следили за путешествиями огня, за превращением пуха в легкий дымок. Их деятельность не укладывалась в рамки войны, хотя, возможно, это было начало войны, ее зародыш. Она начинается в играх мальчиков. И война, возможно, есть лишь исступленное исследование мира.



...война, возможно, есть лишь исступленное
исследование мира.

Курский решил довести это дело до конца.

«Анатомия! Биология! — бормотал он. — Изучи ее — до конца».

В квартире Шнуровых он нашел в дверях записку от Лиды: «Дорогой СС! Вы упустили одну, и причем самую лучшую, рифму к слову «свастика» — «мистика». Эта рифма кажется мне самой красивой и самой осмысленной. Мое предложение не было пьяным бредом и оно остается в силе. Навещайте. Лида».

Не успел он прочесть и спрятать записку, как в дверь постучали. Вошли Лыков и Гущенко с веселыми лицами.

— А чего такие веселые? Нашли, что ли, чего? — спросил Сергей Сергеевич.

— Ничего не нашли, но портвейна выпили, — увлеченно ответил Лыков. — И все гадали, под каким названием войдет это дело в историю угрозыска: «Дело ветеранов» или «Дело свастики»?

— А может быть, «Дело отставного полковника» или «Дело подростков»? Выбирайте на свой вкус, — Курский с улыбкой пожал руки ребятам.

— Неужели все еще подозреваете директора? — спросил Гущенко.

— Почему бы и нет? Я сегодня был у него. Он действительно человек, наверное, хороший, добрый, но...

- Что?

— Но не в себе.

— Это новость. Никто за ним ничего такого не замечал. Разве что его любовь к Лиде... Но она такая красавица, кого угодно с ума сведет.

— У меня, ребята, глаз наметанный, — Курский усмехнулся. — Шизофрения — профессиональная болезнь разведчиков. Да вы сами представьте себя на месте разведчика. «Семнадцать мгновений весны» смотрели? Живешь так годами, носишь чер-

ный мундир, повязку со свастикой, говоришь по-немецки, и сам порою в толк не возьмешь, кто ты — Макс Отто фон Штирлиц или Максим Максимыч Исаев.

Лыков захолопал светлыми ресницами, изображая радостное изумление:

— Так он — фон Иоффе Герман Фашистович, — загоготал он. — Вот кто он такой! Между тем карета у подъезда, ваше сиятельство. Поскачем?

У дома их ждала машина, за рулем сидел приятель Лыкова — шофер Тимофей Гурьянов, поскольку Лыков и Гуценко сегодня выпили и, кажется, собирались еще выпить. Лыков балагурил, он вообще был парень веселый, из разряда неунывающих. Гуценко, когда бывал без Лыкова, мог и загрустить, но в компании с товарищем вовлекался в бодрое, безоблачное настроение. Но все же он был серьезнее, и его как-то, видимо, беспокоили подозрения Курского насчет Иоффе.

— Отчего вы решили, что он не в себе? — спросил Гуценко, когда они уже оставили позади перевал и глазам их открылась другая бухта, другие горы...

— Я сказал ему, что долгие годы специализировался по убийствам, и даже написал учебное пособие на эту тему. Это — чистая правда, но я сообщил ему это не без умысла. Он сразу же стал навязывать мне версию, которая кажется мне совершенным бредом — версию детской секты под названием «Солнце и Ветер». Он пытался убедить меня, что дети, играючись, убивают пенсионеров.

— И кто туда входит, в эту секту? — с любопытством спросил Гуценко.

— В основном дети с бронхиальными и легочными заболеваниями. Во главе секты якобы стоят некие Кристина и Роман Виноградовы, четырнадцатилетние брат и сестра, близнецы. Еще туда входит девятнадцатилетний Виталий Пацуков, по кличке Цитрус, друг Лиды Григорьевой.

— Про близнецов Виноградовых ничего не слышал, а Виталию Пацукова мы знаем, — откликнулся Лыков. — Мы с ним в одной школе учились, в Кореизе. Он меня младше на четыре года, но хлопот нам доставил немало. Так-то он хлопец неплохой, с мозгами, спортом занимался, но характер бешеный. Все было там: и драки, и злостное хулиганство, и наркотиков немерено... И на винте торчал, и на героине. Ну да кто не торчал? Дело такое... Сейчас вроде ничего, подуспокоился. Лида, говорят, его уму-разуму научила. Он теперь при ней, вроде как парень ее или типа того.

— А я сегодня тоже был у Иоффе, — сказал Гущенко. — Сразу после вас. Он был задумчив. Боюсь, я прибавил ему невеселой задумчивости, мне пришлось передать ему папку с документами по Лиде Григорьевой, точнее, по Полине Зайцевой. Как-то он отреагирует? Не знаю, какие из этих фактов ему были известны, какие нет. Честно говоря, у меня душа не на месте. Боюсь, как бы эта информация не ударила по нему слишком сильно. Он ведь ее любит. А почему версия Иоффе вам кажется безумной? — спросил Гущенко. — У нас проходили подобные дела. Подростки склонны объединяться в самые различные тайные союзы и творят самые дикие вещи.

— Конечно, творят! — вмешался в разговор Тимофей Гурьянов, шофер. — От них жди всего! Вот у нас тут...

И он начал рассказывать длинную, запутанную и страшную историю, произошедшую в Симферополе два года тому назад.

Ехали они с ветерком, по хорошей погоде.

Вернулись в Тополиное уже под вечер, посетив несколько мест. Везде они выясняли разные детали, интересующие Курского в контексте этого дела. В Севастополе посетили библиотеку, где Кур-

ский взял несколько книг. Он также встретился с одним очень старым своим знакомым — знакомый был настолько стар, что обнаружить его можно было только в полутемной комнате, в глубоком кресле. Там этот старец читал пожелтевшие сборники одесских анекдотов и смеялся. Когда подъезжали к Тополиному, красота заката, ослепительная красота гор и моря — это все убило разговор. Портвейн давно выветрился из голов, молодые парни подустали, им хотелось пива с сигаретами и домашнего уюта. Только старик оставался по-прежнему бодр. Он попросил высадить его у моря.

— Окунись... Закат, — пояснил он.

Он облюбовал этот маленький полукруглый пляж с большим камнем, торчащим из воды, словно слон. Оставшись один, он вошел в холодную вечернюю воду, отражающую величие заката, и поплыл. Вышел, растерся махровым полотенцем, проводил взглядом солнце и направился в «Грифон». Быстро темнело. Сияющие насекомые кружились у фонарей. Он не уверен был, что Иоффе придет. Ведь он сегодня, возможно, узнал нечто о своей возлюбленной, чего не знал прежде.

Но Иоффе уже ждал его в отдельном кабинете.

«Сидит пахан в отдельном кабинете...», — подумал Курский, входя.

Иоффе сидел один за накрытым столом, на котором стояла бутылка водки и щедрая закуска. Он был в аккуратном светло-сером пиджаке, в белой рубашке, в светлом нарядном галстуке. Седины, как всегда, тщательно причесаны. С первого взгляда казалось — все нормально.

«Он все это знал, конечно, — подумал Курский, сядя напротив. — Разведчик все же».

Но тут же с удивлением увидел, что лицо Иоффе залито слезами.

— Что-то случилось, Олег Борисович? — осторожно спросил Курский.

— Да, умер один человек. Сегодня, — ответил Иоффе медленным тонким голосом.

— Кто? — еще осторожнее спросил Курский.

— Я, — также тонко и протяжно ответил Иоффе.

Курский смутился — ситуация требовала, кажется, сердечности, эмпатии, а он чувствовал себя старым сухарем, способным разве что к устаревшим шуткам в псевдоанглийском духе.

— Почему вы умерли? — спросил он. Вопрос прозвучал так глупо, что это как-то разрядило ситуацию. Иоффе потянулся к водке, налил себе полную рюмку, выпил. Курский вдруг понял, что это уже вторая бутылка и что полковник совершенно пьян.

— Потому что я сегодня предложил руку и сердце одной особе. И получил отказ, — ответил Иоффе.

Курский немного испугался, что полковник знает о том, что такое же предложение упомянутая особа сделала ему, Курскому. Все это пахло бредом. Двусмысленность ситуации казалась неральной, доходящей до идиотизма.

Курский заказал минеральную воду и овсянку. Морская вода капала на его рубашку с волос.

— Я купался, — вежливо улыбнулся Курский. — Вода холодная, но очень приятная. Рекомендую. Море смывает все.

— Я никогда не захожу в море, — ответил полковник. — Смотреть на него люблю — и то не очень часто.

— У вас водобоязнь? — бестактно спросил Курский.

Полковник выпил еще рюмку и странным взглядом взглянул на старичка — очень пьяным и очень трезвым одновременно. Видимо, так работало в нем отчаяние.

— У меня нет водобоязни. Я боюсь, что кто-нибудь увидит меня голым.

— Вы кажетесь себе некрасивым?



«Я боюсь, что кто-нибудь увидит меня голым».

— Нет, я неплохо сложен, много занимался спортом. Хорошо выгляжу. Но у меня татуировка на груди и животе — я ее скрываю от людей. Ее.

— Как интересно! - воскликнул Курский с неподдельным любопытством. — И что же это за татуировка?

— Хотите, покажу? — пьяная улыбка исказила благородные черты полковника. — Ее людям показывать нельзя. Но вам-то можно.

Он дернул за узел светлого галстука, затем рывком сдернул его с шеи, затем стал пьяными руками расстегивать рубашку. Лицо его сделалось багровым. Всю его грудь и живот занимала огромная татуировка — большая квадратная свастика, чрезвычайно тщательно и виртуозно вытатуированная. Внутри она была сплетена из множества элементов: из колосьев, лент, из морских ракушек, корабельных канатов, из пальмовых и оливковых ветвей, из ожерелий, цепей, бамбуковых побегов... Рисунок столь четкий, хороший и внятный, что каждый элемент свастики, несмотря на сложное сплетение, прочитывался мгновенно. В центре свастики виднелось изображение черепа. Видимо, череп утопленника, поскольку он весь был оплетен морскими водорослями, под черепом изображен фрагмент морского дна с рассыпанными старинными монетами и якорем.

— Она великолепна, — искренне произнес Курский. — Я вас поздравляю: очень красивая татуировка.

— Вы что, издеваетесь? Я ненавижу ее. Это она заставила меня... Я сделал это для нее.

— Для Лиды?

— Да. Таково было ее желание. Я исполнил ее требование, и вот она отвергла меня. Как я теперь избавлюсь от этого... клейма?

— Когда вы сделали татуировку?

— Уже давно... Не помню... Больше трех лет тому назад.

— И все это время вы пытались завоевать ее сердце?

— Да, она играла со мной. Жестоко играла. За эту татуировку я был вознагражден одной ночью. Одной. И эта ночь свела меня с ума. Она как Клеопатра. «Кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Я поставил на себе крест, печать. А ведь я еврей, родители мои погибли от рук фашистов. Я надругался над собой, предал свой народ... ради любви. Вы счастливый человек — вам все это безразлично. Как я вам завидую! Вы не влюблены. Немыслимое унижение — быть несчастливо влюбленным в таком возрасте.

— У всех свои печали. Я много старше вас. Может быть, я влюблен в жизнь, откуда вам знать? Господь помог мне дожить до преклонных лет в добром здравии, а все равно жизнь убежит, всего лишь повинуюсь простому арифметическому принципу...

— Бедная девочка! — вдруг пробормотал полковник непонятно о ком: о Лиде, о жизни ли? Он выпил залпом.

Курский встал.

— Я прощаюсь с вами. Не печальтесь. Все у вас будет хорошо.

— Спасибо... простите меня.. — глухо сказал Иоффе.

Курский пошел к выходу, дошел до бронзового грифона, а потом вдруг вернулся. Полковник сидел там же, держа в руках свой мобильный телефон. Он мокрыми глазами взглянул на Курского.

— Вы?.. Что-то забыли? — пробормотал он.

— Скажите, вы были хорошим разведчиком? — спросил Курский.

Иоффе измученно смотрел на него, словно не понимая смысла вопроса.

— К чему вы это? — спросил он.

— Боюсь, вы были не очень хорошим разведчиком, Олег Борисович. Впрочем, девять лет на посту директора санатория в ласковом курортном уголке — это расслабляет.

Полковник молча смотрел на него.

— Видите ли, я слыл в московском угрозыске спецом по татуировкам. Татуировка — мой конек. Вашу свастику мог наколоть один лишь человек — Виктор Хуценко, по кличке Витя Херувим. Витя Херувим умер в Очакове девять лет тому назад. На вашей свастике, в нижнем уголке, его авторский знак — икс и четыре точки. Да и руку не спугаешь. Вашу картинку я датирую примерно девяносто третьим годом. Лиде тогда было от силы тринадцать лет. Исходя из всего изложенного, я полагаю, что к моменту знакомства с Лидой вы уже были адептом свастики, и, видимо, вы и обратили ее в свою веру. Учитывая уголовный характер вашей татуировки и дату ее изготовления, я сомневаюсь в вашей биографии. Я сомневаюсь, что вы еврей, что вы — Иоффе, сомневаюсь, что вы когда-либо были разведчиком. Спокойной ночи.

Курский вышел.

Он шел сквозь ночной парк, тихий и ветренный. Стояла ночь из разряда тех кротких и тревожных ночей, когда случиться может всякое — произойти и в тишине кануть, как будто этого и не было. Рваные облака бежали по светлomu от луны небу, кусты бесшумно наклонялись и выпрямлялись, как скромные верующие. Ветер пронесся и исчезал. Курскому казалось: за ним сквозь парк кто-то идет. И точно... Чьи-то шаги тихо шелестели за ним в темноте.

«Вот сейчас меня и пришьют, — подумал Курский. — Меня убьют левретки кардинала. — Он еще пытался шутить в духе шестидесятых наедине



«Пойдемте со мной», - просто сказал ребенок.

с собственным мозгом и возможной опасностью. — Но я просто так не дамся».

Он просунул руку в специальный кожаный карман, пришитый к изнанке его парусиновой куртки, и достал маленький пистолет — легкий, похожий на зажигалку. Так называемый пистолет одного выстрела.

Он прошел участок аллеи, ярко освещенный луной, затем вошел в густую тень деревьев и тут быстро обернулся и сделал несколько стремительных шагов назад, держа свой пистолетик перед собой в вытянутой руке.

Дуло пистолета почти уперлось в грудь маленького мальчика, который теперь был ярко освещен луной: мальчик лет двенадцати стоял, спокойно глядя не столько на Курского, сколько поверх него, словно отрешенно рассматривая нечто парящее над головой старика. Светлые его волосы ерошил и гладил ночной ветер, лицо как бы окаменело в глубокой безмятежности и покое.

Курский вдруг увидел всю эту сценку со стороны и поразился ее таинственной нелепости: старик в белом целится из крошечного детского пистолета в грудь худому ребенку в черных джинсах и яркой майке, а вокруг черный мятущийся сад, и лунные блики, и полная луна в зеленом нимбе, проступившая сквозь бегущие и истерзанные облака. На мальчишке была майка с японским флагом и иероглифами. Красный круг на его груди, изображающий солнце, странно перекликался с полной луной.

Курский хотел убрать пистолет, хотел что-то спросить, но как-то оцепенел.

— Пойдемте со мной, — просто сказал ребенок.

— Куда? — спросил Курский, пряча пистолет.

— Вас зовут к себе Солнце и Ветер, — ответил мальчик.

— Куда надо идти?

— Далеко. Но вы узнаете все, что вам нужно. Не бойтесь. Вам нечего бояться.

— Кто ты?

— Меня зовут Алеша Корнеев. Я лечусь в этом санатории. Пойдемте.

Мальчик повернулся и пошел прочь. Курский последовал за ним. Что-то гипнотическое было в этом Алеше Корнееве. Глянув в его лицо, Курский словно уснул. На спине у Алеши краснело то же самое японское солнце, что и на груди. Курский покорно шел за этим круглым солнышком в ночи. Несколько раз он что-то спрашивал, но ответа не получал. Несколько раз он ускорял шаги, но ребенок почему-то все время шел впереди, на расстоянии шести—семи шагов.

Так они прошли весь парк, вышли на главную улицу поселка и пошли по ней вдоль заборов, за которыми цвели сады и спали маленькие дома. Вскоре дома сменились травянистыми пустырями, улица незаметно стала дорогой, поднимающейся в предгорья. Уже дикий горный ветерок овеивал их, и загадочно громоздились темные скалы. Здесь у отрогов горы стоял большой заброшенный дом. Крыша почти провалилась, в окнах росла трава. Возле дома стоял автомобиль.

Они вошли. Пустые, разрушенные комнаты уставлены были горящими свечами. Деревянная лестница вела на второй этаж. На каждой ступеньке горело по свече. Они поднялись, прошли по коридору, освещенному свечными огоньками. Провожатый Курского отворил скрипучие двери, жестом пригласил его внутрь. Курский вступил в некое подобие тронного зала. Дорожка, образованная горящими свечами, вела от дверей к двум креслам, в которых сидели близнецы, облаченные в нечто наподобие простых средневековых одеяний.

— Приветствуем вас в нашем дворце, — произнесла девочка. — Спасибо, что вы пришли к нам. Садитесь. Я — Солнце. Это мой брат Ветер.

Она указала на советское кожаное кресло с железными ножками, скромно стоящее сбоку.

Курский сел.

— Играете, ребята? — спросил он добродушно. — Интересно вам играется?

— Играть всегда интересно, если ты и твоя игра — одно, — сказал брат-близнец. — Но настоящая игра еще не началась. Она начнется скоро. Мы приглашаем вас. Вы — первый взрослый, которого нам захотелось пригласить.

— У нас было видение про вас, — сказала девочка. — Высшие силы сообщили нам, что вы — святой. Ваше присутствие необходимо для совершения ритуала в этом году. Так сказали нам Высшие силы. Ритуал будет совершен нынешней ночью на плато Мангуп. Если вы согласны, то от вас требуется принять новое имя и выпить с нами Чашу Перевоплощения. Мы обещаем вам, что, согласившись, вы сегодня же ночью узнаете все, что вам хотелось узнать.

— Какое же у меня будет имя?

— Онт.

— Странное имя. Что оно означает?

— Вы не читали «Властелин колец»?

— Нет.

— В этой книге онтами называются древние деревья, существующие от начала времен.

— Деревья — это мне подходит. Принимаю это имя.

— Мы рады. В таком случае, время сделать Глоток.

Солнце подала знак, и появился Алеша с большой чашей, как показалось Курскому, красного вина. А может быть, это была кровь?

— Я не пью вино, и кровь тоже, — сказал он.



«Я не пью вино, и кровь тоже»...

— Это не вино и не кровь. Это гранатовый сок. Сок из плодов, которые выросли в одном необычном месте, в одном Священном Саду.

— Это меняет дело.

Солнце приняла чашу, отпила из нее глоток и протянула брату. Ветер отпил из чаши и передал ее Курскому. Старик осторожно сделал глоток. Действительно, свежий гранатовый сок. Сладко-терпкий вкус.

— Здравствуй, Онт, - произнесли хором брат и сестра.

— Здравствуйте, Солнце и Ветер, — ответил старик.

— Допьем сок, и в путь. Нас ждет Центр.

Курский кивнул. Они встали и спустились по лестнице, сопровождаемые мальчиком в японской майке. Снаружи их ожидала машина. За рулем сидел Цитрус.

Машина двинулась сквозь ночь. По серпантину они взбирались все выше и выше в горы, дорога петляла, в свете фар выступали то камень, то дерево, то темная пропасть с лунным морем внизу, то чернел вокруг горный лес на склонах.

Шла машина темным лесом
За каким-то интересом.
Инте-инте-интерес,
Выходи на букву С.

На букву С был он, Сергей Сергеич Курский. Ему вдруг стало скучно: непонятно, за каким, собственно, интересом, он, старый человек, едет в машине с незнакомыми детьми куда-то в ночь, в дикие горы. Зачем? Играть в их мистические игры? Смешно. Как он вообще сюда попал?

Он пытался восстановить свое состояние до настоящего момента и понял, что с той минуты, когда он целился из пистолета в маленького маль-

чика, он был словно не в себе. Как будто его заколдовали. То он чувствовал себя спящим, то ощущал себя таким же подростком, как и эти. Он чувствовал пьянящую тайну в ночи, словно это он сбежал из окна санаторской палаты. Он чувствовал детское упоение во всем этом: в запахе гор, в заброшенном доме на отрогах, в огнях свечей, в магии, в ночном приключении, во вкусе гранатового сока и еще в каком-то странном незнакомом привкусе, который присутствовал во рту.

Девочка, сидящая рядом с ним на заднем сиденье машины, повернула к нему лицо и улыбнулась.

«Солнце, — вспомнил он ее имя. — Кристина Виноградова».

Лицо ее в полутьме и бликах, казалось, источает свой собственный свет, золотой и тягучий, как мед. Курский смотрел в ее серые глаза, на ее улыбающийся рот, в узких уголках которого словно скрывались невидимые цветы, на бледно-золотистые волосы, струящиеся вниз, на смуглые даже в темноте плечи. От Солнца пахло цветами. Курский словно увяз в ее неожиданной красоте, он «влип» в созерцание ее лица, как оса в мед, и ему было хорошо в этом меду. Солнце тоже не отводила от него своего серого лучащегося взгляда, словно она о чем-то спрашивала безмолвно и затем сама себе тоже безмолвно отвечала: алмаз заговорщицы — так назывались ее глаза.

«Вот кто на самом деле заколдовал меня, — подумал Курский. — Вот кто, оказывается, скрывался за всем этим... Просто Солнце и его происки. А я не знал».

Он почувствовал ее руку в своей руке, она переплела свои пальцы с его пальцами и тихо спросила:

— Вы не хотите спать? Путь далекий, и вам потребуются силы. Поспите.

— Хорошо, дорогое Солнце, — кротко согласился он и закрыл глаза. За веками сразу же зажглись огни, и без промедления началось действие сна.

Он шел по южному городу. Былолюдно, как на базаре, люди что-то кричали на незнакомом языке. Курский никогда не бывал в городах Средней Азии. Может, это был Ташкент или Самарканд, а может быть, Кабул или Каир. Старые невысокие дома колониальной архитектуры окружали его. Он шел по горячей грязной земле босиком, держа свои ботинки в руках. Это показалось ему глупым: на земле могли быть битые стекла, обьедки, нечистоты, ядовитые насекомые. Он остановился и надел ботинки. Идти стало гораздо удобнее, но не успел он пройти и несколько шагов, как обнаружил, что снова идет босиком, держа ботинки в руках. Видимо, он задумался о чем-то и случайно снял ботинки. Пришлось остановиться и обуться опять. Он пошел дальше, щурясь от потоков яркого солнца, но все повторилось: он снова оказался босым, держащим ботинки в руках. Он обулся. Прогулка казалась интересной, и город развлекал, но опять — стоило чуть-чуть отвлечься — ноги его босо ступали по опасной земле, руки сжимали ботинки. Тогда он решил избавиться от ботинок: размахнулся и швырнул их в открытый подъезд какого-то ветхого дома. Они упали на ступени деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. Сновидец хотел продолжить свой путь по городу, но не мог. Зрелище двух черных, узких, хорошо начищенных ботинок, валяющихся на разохшихся пыльных ступенях незнакомой лестницы, заорожило его. Он стоял и не мог отвести глаз от ботинок. Что-то болезненно-трогательное было в них, в их неуместной элегантности, в их беспомощности, в их покорном лежании на ступенях.

Трогательное, но и значительное, как бы религиозное. Нет, он не мог оставить их валяться в чужом и грубом городе. Он вошел в подъезд, осторожно поднялся по старым дощатым ступеням, рискуя пострадать от занозы или ржавого гвоздя, снова взял ботинки в руки. В этот момент им овладел гнев, он понял, что ботинки затягивают его в пучину бреда, где было жарко, пыльно и запутанно, как в этом городе. Он изо всех сил кинул ботинки вверх, на самую верхнюю ступеньку лестницы. Там они упали с покорным стуком, задумчиво повинуясь капризной воле хозяина. И снова ему стало их жаль — они лежали как два черных крокодилчика, глядя на него дырочками для шнурков. Он поднялся к ним, взял в руки и тут же отбросил — они упали на пол в некоем полутемном коридоре. И опять он пожалел их...

Наконец он понял, что ботинки куда-то «ведут» его. Он оказался в коридоре с несколькими высокими облезлыми дверями. Он стал открывать двери и заглядывать внутрь: все комнаты были пустые, ветхие, сквозь пыльные окна мутно пробивался яркий солнечный свет и шум южного города. Но в этих комнатах жили знаки. В каждой из них на полу стояло много ботинок, множество пар, они-то и образовывали знаки.

В первой комнате ботинки были построены большим крестом. Ботинки (все ношенные, но хорошо вычищенные) тесно стояли парами. Здесь были не только мужские, но и женские туфельки, детские сандалии, даже тапки. Во второй комнате обувью была выложена пятиконечная звезда. В третьей — звезда Давида. Он приоткрыл дверь в комнату номер пять. Там находился сложенный из туфель полумесяц. Все знаки были строго симметричны. Свастика размещалась, как и следовало ожидать, в комнате номер четыре. Как и другие знаки, она складывалась из ботинок, но кончик

ее оставался недостроенным — не хватало одной пары.

Курский бережно поставил свои ботинки в недостроенный угол свастики. Теперь она стала завершенной, полной. Видимо, ботинки с самого начала стремились сюда, оттого и вели себя так странно.

Курский хотел тихо выйти, но оглянулся — его ботинки по-прежнему с любовью смотрели на него своими дырочками для шнурков. Он вернулся, вдел ноги в ботинки, не сдвигая их с того места, которое они занимали в составе свастики. Он встал неподвижно в конце одного из сегментов свастики и более не ощущал потребности в движениях. Он знал, что отныне и навеки он будет стоять здесь неподвижно, в этой пустой старой комнате, не ведая ни усталости, ни скуки, ни смерти...

«Я остаюсь с вами. С вами», — с этим шепотом, обращенным к ботинкам, он и проснулся, с лицом, осыпанным странными легкими слезами, как если бы слезы были хрустящими и полыми пузырьками, наподобие воздушной кукурузы, которую едят в кино.

В автомобиле Цитруса все неуволимо изменилось, словно это был совершенно другой автомобиль — другой марки и конструкции. Изменились и все люди в машине. Изменился и мир вокруг. Лицо Солнца теперь откровенно излучало золотой свет. Отсветы этого сияния золотыми лепестками проносились и парили во внутреннем пространстве машины. Лицо Ветра, наоборот, казалось темным, волосы на голове его шевелились, он сидел, округлив глаза и надув щеки, словно удерживал в себе вихрь.

«Майор Вихрь», — подумал о нем Курский.

Цитрус казался древним рыцарем или, наоборот, космонавтом. Во всяком случае, голову его



«Я остаюсь с вами. С вами...»

увенчивал шлем со странными грибообразными отростками. Мальчик Корнеев, сидящий на переднем сиденье, светлел и смеялся, как некий живой одуванчик, которого щекочут стрекозы и мелкие феи.

Они вышли из машины и пошли по тропе сквозь лес, который, казалось, целиком был насыщен играющими светлячками. Мальчики шли впереди, Солнце взяла Онта за руку.

— Что тебе снилось, Онт? — спросила она шепотом.

— Мне снились ботинки.

— Много ботинок?

— Очень много, мое Солнце. И они складывались в знаки.

— Ботинки — это следы. Ты же следователь, Онт. Ты идешь по следу, не так ли? Наконец-то ты взял верный след.

Она засмеялась.

— Где мы? — спросил он.

— Мы на Мангупе, очень высоко над уровнем моря. Идем по тропе жрецов. Слева и справа от этой тропы лежат древние кладбища тавров.

Действительно, на склонах среди невысоких деревьев виднелись надгробия, какие-то заросшие лишайниками камни, и что-то вертелось и реяло в траве между могил, как будто духи тавров, существа размером не больше сусликов, плясали там, свившись в хороводы и цепи.

— Что было в гранатовом соке? — спросил Онт.

— Вот это, — Солнце протянула ему открытую руку — в центре ладони, там, куда сходились линии сердца, жизни и ума, лежала знакомая ему маленькая белая таблетка с выдавленной свастикой.

— Это очень молодое вещество, совсем новое. Оно существует лишь несколько лет. Его назвали «свастикапа» — свастика собирающая. Но это ве-

щество-младенец возвращает в очень древние и забытые миры. Возвращает в золотой век.

Солнце вдруг подняла руку ко рту, сжала таблетку своими ровными белыми зубами, затем обняла Онта и поцеловала. В момент поцелуя она раскусила таблетку пополам — половинка таблетки-свастики оказалась во рту Онта, другая половинка — во рту Солнца.

Оба проглотили свои половинки. Курский не поступил бы так, но здесь уже не было Курского. Был Онт.

Ветер унес облака, и полная обнаженная луна сияла в зеленоватом небе. В почти фотографическом свете этой луны они увидели пещерный город: скалы были словно изъедены термитами, кое-где под сводами пещер горели костры, и таинственные фигуры сидели возле них. Как в подзорную трубу, Онт увидел их отдаленные лица в микроскопических подробностях, у некоторых перья торчали в волосах, а на лбу были нарисованы лабиринты, другие читали книги и курили или танцевали голые вокруг костров. Отзвуки песен, тамтамов, смеха и камланий — все это вместе с эхом блуждало между скал и уносилось ветром. Что-то страстное и, наоборот, отрешенное от страстей сплеталось и расплеталось на этом плато, напоминаящем колоссальную пятипалую ладонь, протянутую луне. Кое-где в зеленой траве между валунов, завернувшись в одеяла, лежали на земле парочки, отдающиеся любви, и тут же восседали аскеты, застывшие в позе лотоса. Какие-то девушки, обходящиеся, несмотря на дикий холод, почти без одежд, тихо белели и исчезали между скал, и если случилось взглянуть в их вдохновенные лица, то становилось понятно, что они или же съели нечто, превращающее их в античных нимф, или же так долго пили лишь воду горных ручьев, что стали святыми.

Они шли по тропе, пока не подошли к краю плато. Здесь высилась небольшая скала, напоминающая формой лежащего льва.

— Познакомьтесь, Онт, это Львиный Бог, — сказала Солнце. — За ним находится место Ритуала.

Онт зачарованно смотрел на голову Львиного Бога — она была огромна, камень, тесно испещренный складками, действительно очень напоминал львиную гриву.

— Львиная грива, — произнес Онт зачарованно. — Когда-то я читал такой рассказ...

— Львиный Бог — живой, в лунные ночи голова его смотрит вправо, а в безлунные — влево. Он охраняет нашу Площадку, и если кто-то захочет проникнуть сюда с целью осквернить священное место, Львиный Бог убивает такого человека: его потом находят упавшим со скалы. Иногда эту скалу называют Божий Лев, но это в безлунные ночи.

— А грива у него тоже живая? — спросил Онт.

— В живом все живое, — ответила Солнце.

Они нагнулись и по очереди пролезли сквозь своего рода каменный лаз, образованный передними лапами Львиного Бога. Взорам их открылась Площадка: квадратная, просторная, состоящая из огромных плоских, плотно пригнанных друг к другу камней, словно ее вымостили свисающие с неба гиганты. С трех сторон она была защищена от ветров и взглядов скалами. Четвертая ее сторона обрывалась в пропасть, и с этого обрыва открывался умопомрачительный вид: далеко-далеко лежало море в лунном свете, чернели леса, столь далекие, что казались мхом, змеились внизу дороги, как нити во мху, россыпями тусклых искр мерцали далекие приморские селения... Этот ландшафт раскрывался как космически уютный покой — покой в обоих смыслах этого слова. Как шифоньер с секретами, решившийся насытить себя потоками кристально-соленого воздуха, что приходится братом ветру.

Онг подумал: когда безветренно, это не значит, что ветра нет – просто ветер стал таким медленным, что пронизывает собой совсем другое время, пронизывает и медленно продувает его, крадучись. Ветер подошел к Онту и сказал:

- Мы называем эту площадку Двойные Деньги.

- Почему?

- Это связано с одной легендой. Ты узнаешь, мы расскажем тебе. А теперь взгляни на это.

Ветер посветил фонариком на ствол старого, низкого, кривого дерева, которое росло на обрыве, уцепившись за него корнями. На коре дерева вырезаны были свастики, но, видимо, сделали это так давно, что свастики невероятно выпянулись в длину вместе с ростом дерева и теперь их трудно было узнать. Такие же длинные искаженные свастики видны были на коре других похожих деревьев, росших на обрыве.

На Площадке их поджидала довольно большая группа подростков — человек пятнадцать, не меньше. Видимо, члены секты «Солнце и Ветер». Почти всех этих девочек и мальчиков Курский видел на лекции Лиды Григорьевой. Там они щеголяли в свеженьких модных одеждах, были увешаны нарядными плеейрами и телефонами, теперь же на их телах белели какие-то ниспадающие ткани — как бы римские тоги или древнегреческие туники. Присмотревшись, Онг понял, что это белые простыни с печатями их легочного санатория, умело подпоясанные лентами и шнурами. Эти как бы античные одежды наброшены были прямо на голые тела. Несмотря на холод, царящий на горном плато, множество костров, пылающих на Площадке, согревали собравшихся. Большие костры пылали по периметру Площадки, образуя круг, и дети группами сидели и стояли возле костров. Многие смеялись и обнимались — то ли желая согреть друг друга, то ли потому, что их опьянил гранатовый

сок. Несколько больших чаш, наполненных темным соком, стояли на камнях, были и плоды граната, разложенные на тканях, среди них виднелись и другие фрукты. Но, кроме фруктов и сока, не присутствовало никакой другой еды и напитков.

Онту поднесли новую чашу, и он стал пить терпкий сок мелкими глотками, хотя и так уже ум его уносился какими-то вихрями и пропитывался каким-то светом, словно действительно сам Господин Ветер и Госпожа Солнце снизошли до того, чтобы поиграть с детьми и со стариком, желая унести в даль и иллюминировать их мысли.

Незаметно для себя он и сам оказался облачен в белые простынные одеяния жреца, и на белизне этих одежд кроваво светились случайные капли гранатового сока, а куда делась его одежда, где его паспорт, пистолет и мобильный телефон, этого он не знал.

Жрецом он сидел на валуне, прислонясь спиной к старинному кривому дереву, а перед ним уже, видимо, постепенно вершился некий ритуал, начало которого он пропустил, задумавшись.

В центре площадки имелся прямоугольник чистого песка. Солнце и Ветер, тоже уже в жреческих одеяниях, ходили вокруг этого песка. Солнце с тонким отточенным прутом в руках, Ветер - со странной метелкой.

— Солнце рисует знаки, Ветер сметает их, — произнес Ветер.

Солнце рисовала знаки на песке, Ветер время от времени сметал их легким движением метелки. Курскому иногда казалось, что он все еще сидит на лекции Лиды, но только самой Лиды нигде не было, да и произносимый текст стал страннее. Брат и сестра говорили по очереди, ровно и отчетливо, но Онт не был уверен, что слышит и понимает их правильно.

- Свастика — это знак стихий, но стихия чело- века — это деньги. Деньги — это тот поток превра- щений, который заставляет все находящееся внут- ри человеческого мира узнавать и изменяться или оставаться собой. Как без жестокостей и войн рас- творить микроприсутствие знаков на всех уров- нях, включая Хрустальные Своды, как растворить их едкой кислотой Сваста без изуверства, без гоне- ний на тайное и явное? Все люди К, и люди Ю, и люди И, и люди Т на этом плато хотели бы сделать один-единственный свободный вздох и раство- риться, не подчиняясь той власти, которую имеют над ними Деньги. Но нельзя ударить по прозрач- ному нежному сетчатому телу всеплетенки: кос- мовиньетка выстоит, безутешно страдая, и не нам мучить ее, излучающую страдания, — не нам. Но нас учат Мерлин, и фея Моргана, и фея Солейль, и фея Хорошая, и фея Енотик, и фея Калипсо — надо удваивать и скрещивать знаки денег, чтобы освободиться от их власти. Так говорил мудрый Мерлин: поднеси королю зеркало, и он исчезнет. Необходимо скрещивать знаки, тогда повеет кос- мосом и снегом, чистотой полей и вершин. Солн- це, нарисуй Свастику Двойного Доллара.

Солнце кивнула своей светящейся головой со струящимися светлыми волосами, стекающими вдоль голой смуглой спины, и кончиком прута ма- стерски нарисовала на песке симбиотический знак, состоящий из двух скрещенных знаков дол- лара, образующих «мягкую» свастику со вписан- ным в нее крестом.



- Знак доллара - это перечеркнутая буква S, - произнесла Солнце. — В чем смысл этого знака?

Этот знак воспроизводит фигуру змеи, обвившейся вокруг дерева или вокруг двух деревьев, учитывая, что S перечеркнуто дважды. Таким образом, знак доллара представляет собой картину искушения Адама и Евы змеем. Обвившись вокруг двух священных деревьев райского сада, змей предлагает первым людям отведать запретный плод, содержащий в себе авенну — эликсир различения добра и зла. Перволюди наги, но, отведав авенны, они прикрывают тело одеждой. Их стыд означает, что им больше нет места в раю, их изгоняют. Знак доллара есть знак искушения и грехопадения, знак изгнания из рая и знак стыда. Поэтому он перечеркивает себя, и это делает его непобедимым. Его невозможно вычеркнуть, перечеркнуть, он и так уже перечеркнул сам себя. Но мы удваиваем этот знак, «кроем» его таким же. Образуется мягкая свастика с вписанным в нее крестом. Это знак возвращения в рай: алхимический круг трансформаций замыкается и преобразует авенну в севастикайу, в эликсир возвращения, эликсир восстановления невинности. Севастикайа — это эликсир вечной молодости, это эликсир Афродиты, который она принимает после каждого соития, чтобы вновь стать девственной. Поэтому, принимая этот знак, мы сбрасываем одежды. Только голыми мы можем вернуться в рай.

Солнце сделала знак, и все сбросили с себя простыни, оставшись нагишом. Сделал это механически и Онг. Глянув мельком на свое тело в свете костров, он не обнаружил в нем ничего, что бы отличало его от собравшихся детей. Холод не ощущался — то ли из-за ярко пылавших костров, то ли согревал гранатовый сок.

— Вторая свастика этого ряда должна быть образована удвоенным знаком фунта стерлингов, — произнес Ветер. — Начерти знак, Солнце.

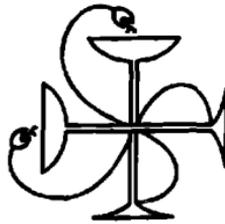
Солнце с видом настоящего каллиграфа-виртуоза начертила красивую свастику, образованную скрещенными знаками фунта стерлингов.



Ветер продолжал:

— Буква S, являющаяся основанием знака доллара, есть знак змеи как графически, так и фонетически: s-s-s-s-s образует звук змеиного свистящего шипения. В этом отношении ближе всего к знаку доллара стоит знак «фармакон» — знак фармацевтики. Лекарства и препараты представляют собой сверхвалюту, дублирующую функцию денег, поэтому таблетки упаковываются в фольгу, которая называется конвалютой. Солнце, нарисуй свастику, образованную двумя скрещенными фармаконами.

Солнце нарисовала знак.

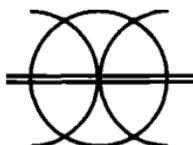


- Знак евро представляет собой дважды перечеркнутую букву С или же дважды перечеркнутый полумесяц, что понятно в связи с конфликтом между Западом и исламом. Полумесяц перечеркнут двумя горизонтальными линиями, то есть математическим знаком равенства. Деньги есть основание эгалитарного принципа - все равняется всему посредством денег. Относительно новый

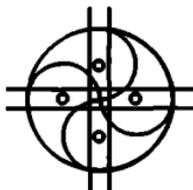
знак евро может быть удвоен двумя способами. В первом случае это перечеркнутый икс, во втором - перечеркнутый знаком равенства ноль.



Второй знак можно проинтерпретировать так: НАМ ВСЕ РАВНО или НИЧТО РАВНО СЕБЕ. Первый знак можно понять так: основанием равенства всех и вся является Неизвестное, Большой Икс. Наслаивая эти два знака, получим:

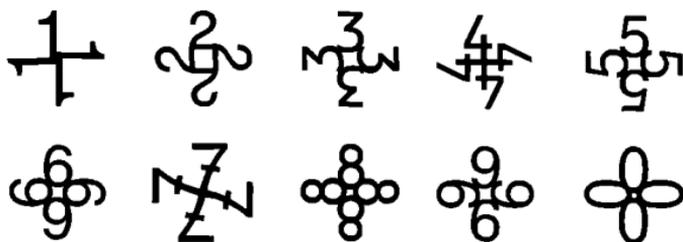


Затем, конечно, необходимо получить свастику посредством удвоения мандалы инь-ян (она же 69). Напоминает делящуюся клетку, поэтому впишем в нее Свастику Двойного Доллара.



Этот знак назовем знаком Мокши, которая является древнеиндийской богиней Остановки Рождений и Смертей. Число 4 есть, очевидным образом, число свастики: взяв, например, арабский числовой ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, — мы можем убедиться в том, что все знаки, учетверенные по кругу, образуют различные свастики, кроме нуля и восьмерки — ничто и бесконечность, ко-

торые образуют статичный крест. Все знаки, кроме этих, являются динамичными. Далее отсчитываем в новом свастичном числовом ряду:



Внезапно Онт осознал, что все это исследование о знаках, вся эта ритуальная «лекция» — все это вовсе не произносится Солнцем и Ветром, а звучит у него в голове. Что же касается рядов новообразующих знаков, которые становились все сложнее, и казалось уже, что свастики ветвятся и произрастают как кустарники, — все это струилось за его закрытыми веками. Он открыл глаза. Голые дети в окружении костров, опьяненные гранатовым соком, ночью, магией и друг другом, предавались любви на священной площадке: сначала они разделились на парочки, свивающиеся по двое, затем парочки стали сплетаться друг с другом в одно большое ожерелье из тел, и, наконец, как и следовало ожидать, они образовали огромную живую свастику, пронизанную наслаждением и бредом. Свастика медленно вращалась, пульсировала в таинственном ритме многочисленных соитий, по ней, словно сигналы, пробегали оргазмы, освещая собой то один ее фрагмент, то другой. Бывало, жалобный и нежный девичий крик или стон уносился к луне, вздохи и приглушенные звуки поцелуев летали над оргией, но в основном звучали тамтамы и барабанчики, доносясь откуда-то из густой тени деревьев.

Нефть совокуплялась с Газом, Алюминий с Никелем, Золото с Серебром, Уран с Водой,

Коэффициент NASDAQ соединился с Марганцевой Рудой, мальчик по кличке Лондонский Фондовый Рынок целовал между широко раздвинутых ног девочку по кличке Алмазы. И всем в радостном упоении мнилось, что их сладострастие, их счастье, сверкающие отблески их оргазмов — все это дождем ниспадает на мир, обеспечивая необозримый коловорот обмена, благословляя пугающий вензель, в который сплелись на Земле стихии, природные вещества, субстанции, добываемые из недр, люди, денежные потоки, электричество, вода, солнце, оружие, желание, страсти, усталость...

Постепенно все это набирало обороты, и чаще звучали крики и стоны упоения. Казалось, мощная тайная вибрация пробирает Плошадку. Казалось, завращались быстрее и быстрее все бесчисленные свастики, упомянутые в этом тексте, сотканые из пуха, бриллиантов, букв, чугуна, камня, смальты, людей и мыслей, цифр, из света и теней, из преступлений и наказаний. Все эти свастики превратились в пропеллеры, все они наращивали скорость вращения, чтобы поднять повествование на воздух, чтобы унести его прочь в просторы полета...

Да, казалось, вот-вот — и детская оргиастическая свастика взмлет в небо, которое на глазах переставало быть ночным и волшебно преображалось в утреннее, казалось, что она вращающимся солнышком повиснет в далеких небесах, и миллиарды нитей-лучей протянутся от нее вниз, вращая другую свастику, которая называется миром.

Онт наблюдал за оргией, постепенно вращая спиной в старое дерево, к которому прислонился. Дерево словно впитывало его в себя, он вдевал свои белые руки в его ветви, как в рукава пальто, и рук становилось множество, ноги утекали к корням, ветвясь, они пробирались в глубины горы



«Здесь чудеса, здесь леший бродит...»

сквозь трещины и расщелины камня и сосали влагу из загадочных резервуаров земли. Ему казалось, он и есть это дерево и смотрит на все происходящее древним древесным взглядом, и в то же время ему грезилось и другое. То вдруг чудилось, что он снова на Цейлоне, и давно забытые ароматы экзотических цветов щекотали ему ноздри. Видимо, этническая музыка и отсветы костров возвращали его туда, и снова тот ласковый и необычный дождь, который некогда обрушился на него в Галле, словно бы ниспадал на площадку, и он шептал, вспоминая:

Я расскажу про свастику в пыли,
 Что сторожит святыню на Цейлоне.
 В святыне той хранится соль земли,
 Хранится соль, как едкий сок в лимоне.

Я расскажу про кладбища в песке,
 Про океан, что ходит сам собою,
 О девочке, танцующей в тоске,
 Что, может быть, хотела б стать тобою.

Внезапно одна фигурка отделилась от оргии — голая, девичья — и скользнула к нему. Он узнал Солнце.

— «Здесь чудеса, здесь леший бродит, русалка на ветвях сидит», — произнесла она ему в ухо.

Она гибко и молниеносно вплелась в него, влилась в узор его ветвей, он ощутил ее поцелуй — бесконечно пьяный и свежий поцелуй рассвета, потому что именно в этот момент первый луч еще невидимого солнца пронесся над морем. Языки их соприкоснулись, исследовали друг друга, и показалось в какой-то момент, что они обменялись глубинными знаниями, что отныне она сможет говорить на языке деревьев, он — на языке лучей. Тела их соединились в любви. Во время этого

соития Солнцу, возможно, казалось, что ей лет семь и она до сих пор любит взбираться на деревья сада, и вспоминалось ей эротическое ощущение, когда она сидела голая и веселая на горячих от солнца ветвях, обхватив их ногами, ощущая нежной кожей мудрое прикосновение коры... На него же так щедро хлынула молодость из глубины ее тела, что в нем не осталось больше вообще никакой старости, даже древесной. Он стал просто совокупляющимся мальчиком или даже оранжевым кенгуренком, чем-то вроде пушистого футлярчика для мобильного телефона. В нем вспыхивали сигналы, через него проходили сложнейшие информационные потоки, скрученные в золотые жгуты или свитые в темно-синие косички, а он знай себе запрыгивал и запрыгивал в ее нежный кармашек, ни о чем не помышляя, кроме как об эйфории.

Казалось, они кончили несколько миллионов раз, и столько же раз застывали в объятиях друг друга словно навечно, и каждый раз их уносили немислимые видения, разворачивающиеся до тех самых пор, пока лишь ясный свет не оставался плескаться в анфиладах дворцовых комнат их сознания, выходящих окнами в светлую пустоту оргазматической нирваны. Но свастика снова начала раскручиваться. Сначала медленно, потом быстрее, и они возобновляли свои простые движения...

Потом они вдруг оказались стоящими на самом обрыве. Двумя взявшимися за руки детьми стояли они там, приветствуя восходящее солнце.

— Ты все понял, Онт? — спросила Солнце.

— Да, — ответил Онт. — Я все понял.

— Тогда пришло время совершить чудо. Прыгнем вниз.

— Чудо смерти?

— Нет, чудо возвращения. Севастикайа — это свастика собирающая, она все возвращает. Поэтому, если мы прыгнем, ничего не будет. Мы не погибнем. Она вернет нас. Она нас соберет — в отличие от знаменитого Шалтая-Болтая, которого

Вся королевская конница,
 Вся королевская рать
 Не может Шалтая,
 Не может Болтая,
 Шалтая-Болтая,
 Болтая-Шалтая,
 Шалтая-Болтая собрать.

Да, не может, но если бы за это дело взялась севастикайа, то даже такой вконец расплескавшийся парень, как Шалтай, был бы собран.

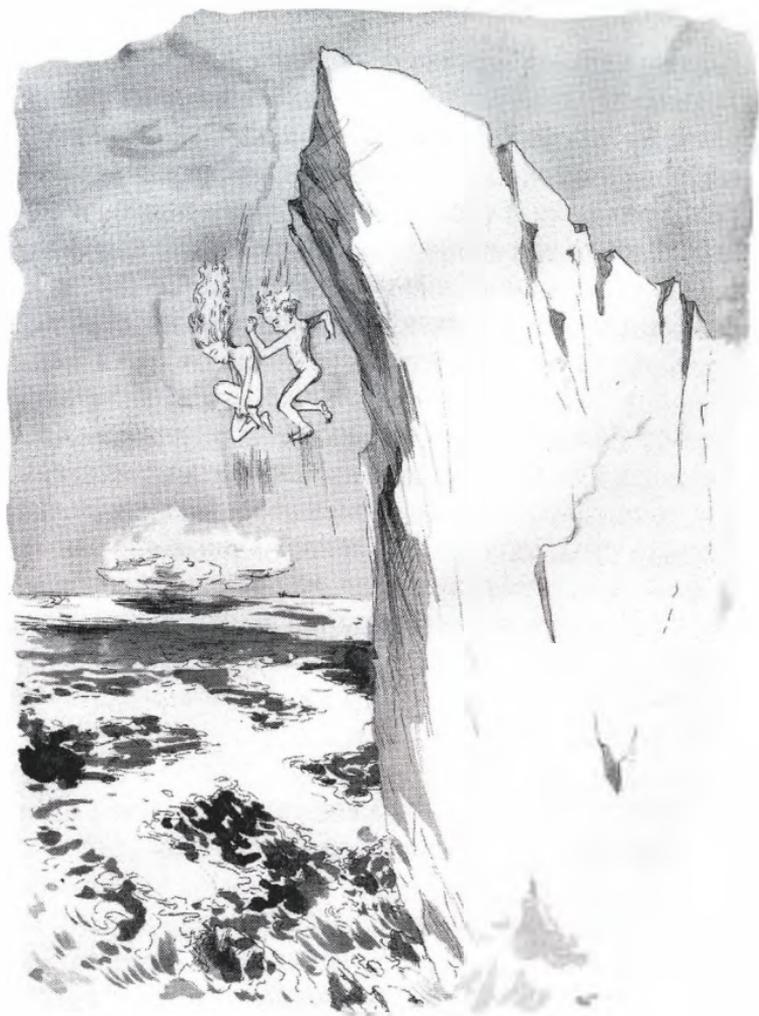
Они спустились еще немного и встали на узком уступе, напоминающем ступеньку. Прямо вниз уходила отвесная скала, и было так высоко, как вроде бы и не может быть. Далеко внизу у моря синели городки, где люди еще не проснулись.

Онт посмотрел на себя и на Солнце. Севастикайа собирала их к истоку: они продолжали молодеть. Молодело и Солнце. Если в начале их соития они сравнялись в возрасте и было им лет по шестнадцать, то теперь бы они уже не смогли заняться сексом — тела их стали на вид семилетними, и они продолжали молодеть с нарастающей скоростью.

Они постояли на уступе, закрыв глаза, наслаждаясь светом за веками, а когда открыли их, то уже двое четырехлетних стояли на обрыве.

А четырехлетним чего бояться? И они прыгнули.

Вначале они захлебнулись скоростью падения, а затем все замедлилось, они вздохнули свободнее и повисли, глядя на свои крошечные синие тени, упавшие далеко внизу на морщинистый камень. Затем словно медленно заработал какой-то засасывающий могучий механизм, словно поворачи-



Это напоминало секс...

валась обратно огромная катушка, и какая-то разлитая в воздухе сила стала поднимать их обратно, словно затягивая. И вот они снова стояли на уступе. И они снова прыгнули, и все повторилось: головокружение падения, потом торможение и реверс. То, что тысячи раз видано ими было в различных клипах и кинофильмах, то, что порою мелькало в сновидениях, теперь переживали они наяву.

И снова они прыгнули...

Чем больше они прыгали в бездну и возвращались, тем сильнее было наслаждение от игры, и они хохотали, и ветер развеивал их младенческие волосы. Это напоминало секс — туда и обратно — ведь они вступали в сексуальный контакт с необозримо огромным и кристальным пространством...

И становилось им три года.

Два.

Один.

И вот уже парочка блаженно исчезающих эмбрионов плескалась над бездной.

Курский открыл глаза. Обнаружилось, что он лежит на заднем сиденье автомобиля. Он приподнялся. Автомобиль двигался сквозь яркий солнечный свет, за рулем сидел Цитрус. Больше никого в машине не было. Они уже подъезжали к дому «Свастика». Курский вышел из машины и, протягивая руку Цитрусу, произнес:

— Я хотел спросить про слова... — тут он запнулся, целый поток слез неожиданно пролился из его глаз, и ему пришлось доставать платок. — Эти слова — «узнай», «авенна»... Откуда они?

— Та Кристина и Рома придумывают, чисто прикалываются, чтобы было интереснее, — пожал плечами Цитрус. — По типу индийские.

— Спасибо, я возьму это на вооружение.

Курский спрятал платок. Цитрус уехал. Курский поднялся по лестнице.

Ему безумно захотелось спать. Но поспать не удалось. В коридоре он встретил старика Кушакова.

— Парчова приболела. Всю ночь от кашля над- рывалась. С ней это бывает: ночные кашли. Про- сила вас зайти к ней.

Курский зашел к Парчовой. Она лежала в ко- нате с четырьмя железными кроватями, постав- ленными почти вплотную друг к другу. Старуха помещалась на одной из этих кроватей, и все это напоминало сцену в нищей больнице. Возле кро- вати больной топорщилась убогая тумбочка, заваленная какими-то старыми рецептами и лекарст- венными пузырьками. В углу стоял включенный телевизор, где шел фильм «Семнадцать мгнове- ний весны». Дело было в канун Дня Победы, и фильмы про войну и разведчиков показывали це- лыми днями.

— А, белый голубок! — приветствовала стару- ха. — Садись, кино посмотрим.

— Я слышал, вам нездоровится, — участливо произнес Курский.

— Помирать я собралась, а так ничего, — сказа- ла Парчова своим резким неприятным голосом. :

— Ну что вы, вы, наверное, еще сто лет прожи- вете, — вежливо подбодрил ее следователь.

— Сам живи свои сраные сто лет! — разозлилась Парчова. — Долгонько тебе еще здесь маяться. А мне пора — достаточно с меня. Надоело хуже горькой редьки. Мир весь гниет, гнилой он весь, труха одна... Гнилой мирок.

— С одной стороны гниет, с другой расцветает, как подснежник. Так повелось, — сказал Курский, вспомнив оргию на рассвете.

— Гниет, как подснежник в лесочке! — острила Парчова. — А чего ты сонный какой-то?

— В гостях был.

Курский вытер платком слезы. Парчова прищурилась.

— Взяли тебя под белы рученьки, накапали яда в белы ушеньки! А я исповедаться тебе собралась, святой старец. Собралась я от вас от всех... Тебе еще долгонько тут маяться. Дай-ка руку.

Она цыганским движением быстро схватила руку Курского, развернула, глянула на ладонь, плюнула и тут же отбросила.

— Футы, свастичкой линии сходятся! Свастушка-матушка — это все она. Лидка-то влюбилась в тебя. Еще бы — свастика на ладошке, как гусь в лукошке.

Курский посмотрел на свои ладони, но никаких свастик не увидел.

Парчова вдруг резко привстала на кровати:

— А ты из человек ли, святой белый старичок? Ты сколько веков старичком-то ходишь? Может, ты ангел какой или черт?

— Я не черт. Я дерево, — вежливо улыбнулся Курский.

— Да какое ты дерево?! — Парчова вспылила, мелко затряслась. — Ты — День Победы, вот ты кто, — она ткнула пальцем в телевизионный экран. — «Этот праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах». Вот и ты весь седой и в слезах, праздничек родной. Все оплакиваешь нас, грешных! Рано нас оплакивать! Мы сами себя давно оплакали!

t?

Очередная волна злобы накатила на старуху.

— Завтра наступишь, праздничек, — произнесла она злобно и снова указала в телевизор, где в этот момент строгий, задумчивый Штирлиц выкладывал из спичек детского ежика на железном столе пыточной камеры гестапо. — Завтра наступишь ногою белокочанной своей на фашистского гада, а?

Парчова хихикнула и стала быстро шарить по тумбочке, делая вид, что ищет какое-то лекарство.

Но пузырьки, скопившиеся там, все выглядели столь старыми и пыльными, что ясно было — Парчова давно не принимает никаких лекарств, не смотря на свой кашель. Корявыми тонкими смуглыми пальцами она вдруг раздвинула какие-то пласты старых рецептов и квитанций, выдернула один ветхий конверт, порылась в нем и извлекла старую фотографию, которую быстро сунула Курскому.

Фотография, пожелтевшая по краям, с обтрепанными уголками, запечатлела небольшую группу молодых фашистских офицеров. Снимались явно летом, все парни были загорелые, улыбающиеся, в расстегнутых мундирах и белых рубашках под мундирами. Позировали в полный рост, на фоне стены с большой свастикой. По мозаичному полу, по овальному окошку сверху он узнал лестничную площадку, где умерла Сулейменова. Между фашистами стояла улыбающаяся загорелая девушка лет пятнадцати в простом ситцевом платье.

— Снимок времен немецко-фашистской оккупации Крыма? — спросил Курский, разглядывая фотографию. — Здесь, в этом доме снимали?

Парчова кивнула.

— А девоньку ты не признаешь? — Она сощурилась. — Это я, грибок. Пятнадцать годков мне. Вот он, мой любезный-то.

Она ткнула пальцем в улыбающегося смуглого парня в униформе, стоящего рядом с девушкой на фото.

— Влюбилась я тогда. Девочка молодая, сердечко нежное. Да и не только сердечко, — старуха похабно хихикнула. — Ничего не понимала, а просто подошел мужчина — молодой, красивый, приласкал умеючи, и сердечко-то у девочки и сгорело, нежное. Как любил-то, как миловал-то! Первый он у меня был, а по-сердечному и последний.

А потом кто-то из наших чего-то украл у немцев, кто-то из мальчишек. А немчики выбрали наобум мальчишек — человек с десяток — и расстреляли. А всех остальных согнали смотреть, для острастки. А мой любезный — смотрю — там, среди них, спокойный такой, добрый, с сигаретой. На меня глянул, улыбнулся так ласково, как будто не он только что мальчишек наших у всех на глазах расстреливал. Вот с этой-то его улыбки я и повредила душой, — старуха постучала пальцем себе по переносице. — Злая стала, ненавистная. Как наши-то Крым освободили, я сразу на фронт пошла, медсестрой. Но не нравилось мне лечить бойцов наших раненых, мне хотелось фашистов убивать. А доброты у меня к нашим раненым не было. Бывало, кричит какой-нибудь с койки: «Сестричка!» А я ему: «Дикая лисичка тебе в лесу сестричка!» Так вот. Но, хоть и медсестра, а привелось мне убивать гадов этих — фашистских немцев. Стреляла я хорошо. Глаз ясный. И мне полегчало малость после этого. Только по ночам орала во сне: «Хорст! Хорст!» Милого своего звала в забвении. Так и начался у меня этот кашель. Тело ночью кричит: «Хорст! Хорст!» Уже не глоткой кричит, а грудным нутром. Душа-то забыла все, а тело — оно помнит. Душа — глупая пробка, а тело — умная бутылка, все помнит. Вот оно как, сокол. Кашель мне сердце рвет из тела, потому что гада полюбила, гадского, звериного изверга. Так и извергла бы его из себя, блеванула бы сердцем!

Курский, казалось, без особого интереса внимал рассказу старухи. Он все рассматривал фотографию и потом спросил:

— А это что еще за свастика на стене? Фашисты нарисовали?

— Большая-то? Нет, она там всегда была, в камне долбленная. Для Тягуновых делали, злых колдунов. Я в этом доме проклятом с детства живу,

все знаю про этот злой дом. Ее всегда каким-то хламом заставляли, чтобы глаза не ела, ее же не собьешь, не закрасишь — прямо в камне выдолбили, аккуратненькую такую. Чертов крест, прости Господи, у которого все перекладкины пополам сломлены.

Парчова замолчала, уставясь на Курского оставившимися янтарными глазами. Курский тоже молчал и словно скучал, посматривая то в окно, то в телевизор. Там Штирлиц в кожаном пальто шел по весеннему Берлину.

— А стариков-соседей я убила, — вдруг пресно и без всякого выражения произнесла Парчова. — Отравила. Только ты не докажешь.

— Чем же вы их отравили? — спросил Курский вяло.

— Мое дело. Все тебе расскажи. А может, вот этим, — Парчова указала на пузырьки с лекарствами, стоящие на тумбочке. — Смешала, смешала, смешала, смешала — вышел яд-ядок, поросячий сок. На кой тебе ляд паучий яд? — Парчова снова затряслась.

— Зачем же вы это сделали?

— А из мести, по злобе. Первый, Лобнев-то, случайно умер. Не ему яд предназначался. Я Антонину убить хотела, Тоньку Руденко, гадину старую. С детства ее знаю, вместе тут выросли. В детстве подружками были, неразлучницами, а потом возненавидела я ее. Это она украла тогда, она, я знала. Из-за нее любовь моя погибла, из-за нее мальчиков наших расстреляли. Она украла у майора и затаилась. А я-то знала, всегда знала. Если б не она, может, уцелела б во мне душенька моя девичья. А потом я двоих отравила. Дураки они были, не стоило им свет собой марасть. Я хотела учительницу под монастырь подвести за то, что она чертову колесу, чертову кресту поклоняется. И детей невинных с ума сводит.

— Вы к смерти этих стариков не имеете никакого отношения, Парчова, — произнес Курский сухо.

— Не имею? — Парчова вдруг метнулась со своей кровати в угол, где стоял бедный шкафчик, стала рыться там, бормоча: «Чертов крест, чертов крест!»

Вдруг она выдернула что-то и протянула Курскому. Это была маленькая свастика на цепочке, отделанная мелкими алмазами.

— Из-за нее все... Чертово колесо майор на шею носил. Тонька и украла.

Свастика свисала на цепочке из кулачка Парчовой. Желтые, синие и зеленые огни вспыхивали на гранях.

— Очень милая вещица, — Курский встал, держа в руках фотографию. — Every girl wants to have her own swastika. Каждая девушка желает иметь свою свастику. Красивая вещица. Наверное, вы ее и украли у майора? Признайтесь. Впрочем, не признавайтесь. Все равно к преступлению, которое я расследую, вы не причастны. Алмазную свастику тогда украли вы, и не было у вас причин убивать ни Тоню Руденко, ни других ваших соседей. В любом случае, спасибо. Вы очень помогли мне. Особенно эта фотография. Теперь я знаю, где скрывается убийца. Вы заслужили вашу алмазную свастику. Поправляйтесь!

Курский вышел. Вслед ему неся истощенный старушечий кашель, исторгаемый бронхами крик: «Хорст! Хорст!»

Курский вошел в свою комнату у Шнуровых и лег спать. Он спал не более двух часов, потом сел за стол у открытого окна и быстро написал два письма: одно — полковнику Иоффе, другое — Лиде Григорьевой. Писалось ему легко, вдохновенно, хотя иногда ему и казалось, что он вот-вот умрет, но это его не смущало. Настолько весело делалось на душе. Письма получились такие:



«Every girl wants to have her own swastika»

«Дорогой Олег Борисович!

Надеюсь, настроение Ваше улучшилось со времени последней нашей встречи, и вот что собираюсь сообщить.

Относительно Вас сложились в моем воображении две фигуры: каждая по-своему великолепна и трагична, и, учитывая чуть ли не шекспировский размах этих фигур, спешу поделиться с Вами своими набросками. И только лишь с Вами.

Поначалу воображал себе некоего Иоффе, офицера КГБ, еврея, у которого фашисты убили родителей, он вырос в детском доме, усыновлен советской властью и посвятил себя службе могучей и процветающей стране СССР. Но страна, которой он служил, исчезла, и образовался зияющий пробел в душе этого человека, способного к служению и по сути страстного, и пробел этот был заполнен тем, что ранее скрывалось, — любовью. Любовь, впрочем, столь долго оставалась под спудом, столь долго страсти этой души сдерживались рамками долга, что любовь приобрела мазохистический характер. Освободившись, душа потребовала страдания, она пожелала стать наказанной, и знак, который она избрала себе, стал знаком позора, самоотречения, самонаказания.

Такой человек, чьи измученные страсти вырвались из-под спуда, способен и на убийства, он желает, возможно, возложить жертвы на алтарь своей любви, тем более что он, скажем, болен паранойей и при этом, по долгу службы, умеет убивать и заматывать следы, а также знаком с ядами, сложно поддающимися выявлению, с экзотическими ядами. Мы же не знаем, в каких далеких странах работал разведчиком наш офицер.

Не знаем. А он, тем временем, поклоняется свастике, знаку своих врагов. Он умело (ведь он хороший разведчик) навязывает этот культ той женщине, в которой его сердце обнаружило источник сладостной боли. Она, по сценарию его

страсти, должна сделаться носителем и держателем этого знака, она должна стать тем хозяином, который пометил его, добровольного раба, этим жестоким клеймом.

Он, возможно, хочет подарить ей дом, имеющий форму этого знака, и значимость этого королевского подарка намерен упрочить истреблением его «случайных» обитателей.

Да, было бы изящно. Но я хорошо знал Витю Херувима, я уважал его как мастера и знатока душ и тел, он был из касты черных цикад, из разряда высохших, но внимательных. Вряд ли он стал бы делать «фреску» (так Херувим называл большие — в полтела — наколки) тому человеку, чью душевную драму я только что пытался Вам описать.

И здесь появляется другая фигура: Бондарь Андрей Владимирович, 1945 года рождения, кличка Бонд, криминальный авторитет, стоявший во главе одной из старейших ОПГ города Севастополя. До него эту бандитскую группу возглавлял некто Филиппов, по кличке Флинт. Известно, что Флинт заказал Херувиму десять больших свастика с пиратской символикой в качестве наколок для десяти своих наиболее доверенных приближенных. Так он пометил их своим клеймом.

Все свастики были объединены морской темой и надписью «помни Флинта». Но Флинта убили в 1992 году, а в 1995 году убили его преемника Бонда. Его автомобиль взорвали, от тел мало что уцелело. Вместе с ним погибла некая Лида Григорьева. Кажется, так звали ту юную красавицу? А может быть, и иначе — Полина Зайцева.

Бонд славился своей хитростью, он любил менять свои имена, биографии, даже лица.

Возможно, он поступил так и на этот раз. Подстроил убийство, скрылся, изменив лицо, и приносит пользу людям, вливая деньги и силы в какой-нибудь крымский санаторий, в небольшом уютном уголке. Благодаря его усилиям санаторий

не развалился, не расхищен, люди отдыхают, лечатся, персонал и врачи получают хорошую, справедливую плату за свой труд. Поэтому его любят, и за дело. Легенда о бывшем разведчике — превосходный повод, чтобы никто не рылся в прошлом. Лишь одно уязвимое место в новой жизни Бонда — его молодая любовница, с которой он не хочет и не может расстаться. Она мечтательна, умна, странна, слишком красива. Она привлекает к себе внимание своей эксцентричностью, своей любовью к свастике, своим влиянием на полудетей из санаторской школы. Возможно, четыре ее злейших врага — пенсионеры, которым делать все равно нечего и чья жизнь столь уныла, что они готовы предпринять все что угодно, лишь бы только послужить своей злобе, — начали вынюхивать, высматривать. Возможно, в их кляузах что-то замаячило, какие-то намеки, догадки.

И их не стало. Они ведь в целом свете никому не были нужны — одинокие, злобные, вконец обветшалые существа. Могло ли кому прийти в голову, что отыщется случайно еще одно старое, одинокое и, возможно, не лишённые злобы существо, которому захочется отомстить за них?

Такое существо отыскалось — это я, но злоба моя, если и пряталась во мне, то вдруг исчезла. Я теперь собираюсь вскорости впасть в счастливое детство. Возраст позволяет, да и желание появилось. В душе моей воцарилась радость.

К тому же, я разгадал эту тайну. Я знаю, кто убийца и где он прячется, а также знаю, что Вы не имеете к этим убийствам никакого отношения. Не собираюсь более никаким образом ворошить Ваше прошлое. Простите, что подозревал Вас, но все это лишь мысли, а мысли (как сказал один дзен-мастер) приходят и уходят, не надо их останавливать.

Желаю Вам доброго здоровья,

С. С. Курский».

Второе письмо выглядело так:

«Дорогая Лида!

Представьте себе, что Вы - не человек. И даже не богиня, не демон, не леопард, а очень простое и очень скрытное существо, боящееся света, любящее прохладу и сырость. Вы полупрозрачны, изначально являетесь собой нечто вроде сгустка, собранного вокруг своего рода завязи, нечто вроде бутона, розетки. Вы забиваетесь в какую-нибудь емкость, в щель, и там ведете свое тайное существование. Впрочем, какая глупость! Зачем Вам представлять себе все это? Ум мой восхищен, поэтому слог нарочит, а мысли чересчур многоцветны. Как говорили древние: сердце бессердечно — кремень, ум безумного — алмаз.

У нас с вами роман тайн, не так ли? Но я здесь не для того, чтобы раскрыть все тайны. Я обязан разгадать одну-единственную загадку: почему и как умерли старики. Я разгадал эту загадку и завтра, в восемь часов утра, в вашем доме, я собираюсь огласить результаты своего расследования. Ваша тайна, тайна Иоффе, тайна Парчовой, тайна Цитруса, тайна Солнца и Ветра, тайна Полины Зайцевой — все эти тайны я оставляю отныне в покое. Я тревожил эти секреты лишь потому, что они казались связанными с гибелью четырех стариков. Но я ошибался. Эти тайны лишь отвлекали меня.

Я рад, что отомщу за ветеранов — униженных и оскорбленных. Униженных старостью и оскорбленных смертью. Я также хочу снять подозрения с невинных. Смысл Вашего предложения, сделанного мне, стал мне к настоящему моменту полностью ясен. Я собираюсь скоро отправиться в путешествие в Индию, Цейлон и Тибет в компании близнецов Виноградовых. Буду счастлив, если Вы согласитесь принять участие в этом странствии.

Преданный Вам,
С.С. Курский».

Под подписью Курский нарисовал маленькую свастику.

На следующий день, 9 мая 2004 года, в восемь утра, Курский стоял на площадке дома «Свастика». В руках он держал зажигалку.

Он обвел глазами собравшихся. Здесь были все действующие лица этой истории: Лыков и Гущенко, Лида Григорьева, старуха Парчова, Иоффе, Шнуровы, Кушаковы, Алеша Корнеев, Цитрус. Солнце и Ветер стояли, взявшись за руки, все жильцы дома — Губаревы, Руссланды, Черняки, Сатаровы, Мшенские, Смирновцевы, Геслен, Парголов, Кислова... Санаторские нарядные подростки стояли большой пестрой гурьбой. Стоял у входа даже шофер Тимофей Гурьянов. Не было только того старика из Севастополя, который в своей полутемной комнате читал одесские анекдоты и хохотал. Все остальные присутствовали. Курский произнес:

— Я пригласил вас сюда, на эту площадку, чтобы завершить на ваших глазах дело, ради которого я приехал в этот поселок. Уберите эти вещи, — он указал на старые стенды и ящики, загораживающие большую — «алтарную» — стену дома.

Гущенко, Лыков и еще четверо милиционеров стали убирать стенды и вещи. Обнажилась стена, на которой — большая свастика, горельеф. Пол у стены покрыт был густыми наслоениями тополиного пуха, смешанного с пылью и грязью. Углубления в стене, из которых состояла большая свастика, тоже были забиты пухом.

Курский чиркнул зажигалкой и поднес ее к краешку свастики. Пух вспыхнул, огонек быстро понесся по пуховому наполнению. И тут свастика вся вздрогнула, что-то дернулось и завибрировало под пухом, и вдруг тонкое свастикообразное нечто, облепленное пухом, похожее на огромного

четыреугольного паука, на гигантскую карамору, выскочило из горельефа, прыгнуло на пол и поскользилось по мозаичному полу прочь. Раздались визги женщин. Народ расступился, существо метнулось и исчезло.

— Не бойтесь, сейчас она безвредна, — сказал Курский. — Это — алейя, нежнейшее, но страшно ядовитое создание из разряда протеев. Ее протезизм — вершина протезизма среди простейших. Алейя очень редка, она живет на суше, но в сырости. Как правило, она прячет свое студенистое тело в различные щели, трещины и углубления. Постепенно она принимает форму своего убежища и сохраняет ее на какое-то время даже после того, как покидает свою приют. Ее хрупкое тело, наполовину состоящее из плазмы, покрыто тончайшими волосками, на кончиках этих волосков содержится сильнейший яд. Этот яд защищает нежное тело алейи. При соприкосновении с кожей теплокровных существ микроволоски буквально прожигают ее, и в кровь попадает микроскопическое количество яда. Этого достаточно для молниеносной смерти существа, пришедшего в соприкосновение с алейей. Четыре человека стали случайными жертвами этого «паука». На коже жертв остались следы — ожоги, нечто вроде естественных татуировок. Я всегда интересовался татуировками, знаками на телах. Эти следы на трупах стариков представляли собой отпечатки переплетающегося тела алейи. Если расправить и распутать эти переплетения, мы увидим свастику — практически того же размера и диаметра, что и этот горельеф, который мы наблюдаем на стене. Горельеф долго был прибежищем алейи. Почему трупы лежали в виде свастик — не знаю. Мне эти позы не казались особенно свастичными, но, возможно, конвульсия в результате действия яда как-то воспроизводит ту форму, которую, по совпадению обстоя-

тельств, приняла алейя. Это уже может объяснить лишь теория морфогенетического резонанса. Здесь присутствующая Парчова видела, как умерла от яда Сулейменова, она видела и алейю, видела, как та скользнула под тень стендов, прикрывающих ее убежище. Парчова решила, что это пакубийца, в которого по ночам превращается директор санатория. Еще кое-кто видел алейю, и полагали, что это галлюцинация живой свастики, наведенная ворожеей Лидой или колдуном Тягуновым, мертвым хозяином дома. Но она, алейя, знать не знала о человеческих делах, она просто охраняла себя. Теперь алейя обезврежена. Она не переносит огня. Только что она получила ожог, от которого ей не оправиться. Завтра это тонкое мертвое тело убийцы будет выметено веником из какого-нибудь темного угла. Свастика теперь пуста, как и надлежит быть знаку. Она снова лишь форма, готовая дать приют любому содержанию. Этот знак не виноват в том, что стал прибежищем ядовитого существа. Любой знак — это емкость, ниша, место, которое может быть занято кем и чем угодно. Подобным образом занимали этот знак фашисты, сектанты, садомазохисты. Они совершили немало зла, но знак невинен. Пора его оправдать. Говорят, это знак солнца, ветра, огня, воды, знак роста, знак причинно-следственных связей, знак становления и разрушения... Но прежде всего это знак знака. Свастику следует реабилитировать.

Курский снова обвел взглядом присутствующих и повторил, словно оглашая приговор:

— Свастика невинна.

Симеиз, 2004

